АБ

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

ЭДУАРД ЩЮРЕ

АНТИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

ЭДУАРД ЩЮРЕ

Annotation

Молодой лорд Эвандаль и известный профессор Румфиус, доверившись греческому торговцу, пообещавшему показать им не разграбленную еще гробницу, не могли и предположить, что их ждет мировая сенсационная археологическая находка. Но то, что они обнаружат во враждебной долине Бибаан-эль-Молук, превзойдет их самые смелые предположения. В той самой гробнице как раз и начнется невероятное путешествие, которое вернет их в далекие времена Рамзеса II, правившего половиной мира!

- Теофиль Готье
  - Пролог
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX
- notes
  - 1
  - 2

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com
Все книги автора
Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Теофиль Готье
Роман Мумии
перевод с французского
А. Воротникова

Пролог

— Я предчувствую, что в долине Бибан-эль-Молюк мы найдем еще не тронутую никем гробницу… — так говорил молодому, важному англичанину человек гораздо более смиренного вида, отирая платком с синими клетками свой облысевший лоб, на котором блестели капли пота, точно он был из пористой глины и наполнен водой, как фивский сосуд.

— Да услышит вас Озирис! — ответил немецкому ученому молодой лорд. — Такое воззвание можно высказать перед развалинами древней Diospolis magna; но много раз мы уже терпели неудачу: нас всегда опережали искатели сокровищ.

— Гробницу, которую не тронули ни цари-пастыри, ни мидяне Камбиза, ни греки, ни римляне, ни арабы и которая отдает нам свои неприкосновенные богатства и свою девственную тайну, — продолжал ученый с увлечением, зажигавшим его зрачки, закрытые синими очками.

— И о ней вы напишете ученейшее исследование, которое поставит вас рядом Шамполлионами, Розеллини, Вилькинсонами, Лепсиусами и Бельцони, — сказал молодой лорд.

— Я посвящу вам мою книгу, милорд, потому что без вашей царской щедрости я не мог бы подкрепить мою научную систему лицезрением памятников и умер бы в маленьком немецком городке, не видев чудес этой древней земли, — ответил ученый растроганным тоном.

Этот разговор происходил невдалеке от Нила, при входе в долину Бибан-эль-Молюк, между лордом Ивендэлем, сидевшим верхом на арабском коне, и доктором Румфиусом, более скромно ехавшем на тощем осле, которого подгонял палкой феллах. Барка, доставившая к месту этих

двух путешественников и служившая им временным жилищем, была причалена к другому берегу Нила, перед селением Люксор, с убранными веслами и скатанными у мачт большими треугольными парусами. Посвятив несколько дней осмотру и изучению поразительных развалин Фив, гигантским останкам беспримерного города, они переплыли в легкой туземной лодке „сандаль” реку и направились к бесплодной горной цепи, которая сохраняет в своих недрах, в глубине таинственных подземных кладбищ, древних обитателей дворцов противоположного берега. Несколько человек экипажа сопровождали на некотором расстоянии лорда Ивендэля и доктора Румфиуса, а прочие, лежа на палубе в тени каюты, мирно курили трубки, охраняя судно.

Лорд Ивендэль был одним из тех безупречных во всех отношениях молодых англичан, каких вырабатывает жизнь высшей английской аристократии; с ним всюду была неразлучна пренебрежительная уверенность в себе, которую дает большое наследственное богатство, историческое имя, записанное в книге пэров и баронетов, этой второй библии Англии, и его красота, о которой можно было сказать только то, что она слишком совершенна для мужчины. Его голова чистых очертаний, но холодная, казалась восковой копией головы Мелеагра или Антиноя. Розовый цвет его губ и щек как будто был создан кармином и румянами, белокурые волосы вились от природы так правильно, точно это было делом искусного парикмахера или камердинера. Но твердый взгляд глаз синевато-стального цвета и презрительная усмешка, выдвигавшая его нижнюю губу, уменьшали впечатление женственности его лица.

Как член яхт-клуба, молодой лорд время от времени позволял себе прихоть совершать экскурсии на своем легком судне „Пэк”, из индейского дуба, отделанном, как изящный будуар, и с немногочисленным экипажем, состоящем из опытных моряков. В предыдущем году он посетил Индию, а теперь был в Египте, и его яхта ожидала его на рейде в Александрии; он повез с собою ученого, врача, натуралиста, рисовальщика и фотографа, для того чтоб его поездка не была бесполезной, он сам был очень образован, и успехи в свете не заставили его забыть о своих триумфах в Кэмбриджском Университете. Он одевался с аккуратностью и щепетильной чистотой, характерной для англичан, которые бродят по пескам пустыни в таком же виде, как если бы гуляли по Рэмсгэтскому молу или по широким тротуарам Уэст-Энда. Пальто, жилет и панталоны из белого холста, предназначенного, чтоб отражать солнечные лучи, составляли его костюм, дополненный узким синим галстуком с белыми горошинами и необычайно тонкой панамой, окутанной белым газовым вуалем.

Египтолог Румфиус даже в этом палящем климате оставался верен черному сюртуку, традиционному для немецкого ученого; некоторые пуговицы оторвались, панталоны местами блестели и протерлись; у правого колена внимательный наблюдатель мог бы заметить на сероватой материи более темные пятна, свидетельствовавшие о привычке ученого отирать переполненное чернилами перо об эту часть одежды. Кисейный галстук, свитый, точно веревка, висел небрежно вокруг шеи, на которой сильно выдавался хрящ, называемый „адамовым яблоком”. Румфиус одевался с ученой небрежностью и не был красив: редкие рыжеватые волосы с проседью висели около торчащих ушей и поднимались у слишком высокого воротника его сюртука; совершенно обнаженный череп блестел, точно кость; нос, необычайно длинный, закруглялся на конце, как цветочная луковица; и вся его физиономия, в соединении с синими кругами очков, закрывавших глаза, придавала ему смутное сходство с ибисом, дополняемое высокими плечами: вид, вполне подобающий и как бы назначенный Провидением для чтеца иероглифических надписей и картушей. Можно было бы сказать: бог с головой ибиса, каких изображали на погребальных фресках, переселившийся в тело ученого в силу переселения душ.

Лорд и доктор направились к островерхим скалам, теснящим погребальную долину Бибан-эль-Молюк, царственный некрополь древних Фив, и вели разговор, из которого приведены уже несколько фраз; как вдруг, подобно пещерному жителю, из черной пасти опустевшей гробницы появилась на сцену новая личность, довольно театрально одетая: она восстала перед путешественниками и приветствовала их восточным поклоном, одновременно смиренным, ласковым и полным достоинства.

Это был грек, устроитель раскопок, торговец и фабрикант древностей, продающий, в случае надобности, новое, за недостатком древнего. Но в нем ничто не напоминало вульгарного и голодного эксплуататора иностранцев. На нем был тарбух из красного войлока, украшенный пышной кистью синего шелка, и из-под узкой белой полоски нижней холщовой шапочки видны были бритые виски одного цвета с свежевыбритым подбородком. Оливкового оттенка цвет лица, черные брови, крючковатый нос, глаза хищной птицы, большие усы, резкий разрез подбородка, точно от удара сабли, все придавало бы ему подлинный вид разбойника, если б резкость черт лица не смягчалась заказной любезностью и угодливой улыбкой спекулятора, имеющего частое общение с публикой. Одежда его была очень опрятна: полосатая куртка, вышитая шнурами того же цвета, кнемиды или гетры из подходящей материи, белый

жилет с пуговицами в виде цветков ромашки, широкий красный пояс и необъятные шаровары со множеством пышных складок.

Этот грек давно уже следил за баркой, стоявшей на якоре перед Луксором. По размерам ее, по числу гребцов, по роскоши убранства и, в особенности, по английскому флагу на корме судна, он своим нюхом торгаша почуял богатого путешественника, любознательность которого можно использовать и который не удовлетворится статуэтками из эмалированной голубой или зеленой глины, гравированными скарабеями, бумажными оттисками иероглифических надписей и разными мелкими произведениями египетского искусства.

Он следил за передвижениями путешественников среди развалин и, зная, что, удовлетворив свое любопытство, они непременно переплывут через реку, чтобы посетить царские подземные могилы, он ждал их в своем привычном месте в твердой надежде поживиться от них. Всю эту погребальную область он считал как бы своим владением и преследовал подчиненных ему шакалов при всякой попытке порыться в гробницах.

Со свойственной грекам хитростью, по внешнему виду лорда Ивендэля он быстро оценил вероятные доходы его светлости, решил не попасть впросак и извлечь больше выгоды из истины, чем из лжи. Поэтому он отказался от мысли водить благородного англичанина по ипогеям, уже сто раз обойденным, или вовлечь его в раскопки в таких местах, где не найдется ничего, потому что сам он уже давно извлек оттуда и продал очень дорого все, что было там достопримечательного. Аргиропулос (так было имя грека), исследуя закоулки долины, реже всего посещаемые, потому что там не было никаких находок, вывел заключение, что в известном месте за скалами, как будто случайно нагромоздившимися, должен быть вход в подземелье, особенно заботливо скрытый; его опытность в подобных изысканиях давала ему на это тысячу указаний, незаметных для глаз, менее проницательных. В течение двух лет с того времени, как он сделал это открытие, он боялся даже смотреть в ту сторону, чтоб не привлечь внимание грабителей могил.

— Не имеет ли ваша светлость намерения заняться какими-либо исследованиями? — спросил Аргиропулос на своеобразном международном языке, который легко представят себе те, кто посещали побережья Востока и бывали принуждены прибегать к помощи этих многоязычных переводчиков, в конце концов не знающих ни одного языка.

По счастью лорд Ивендэль и его ученый спутник знали все наречия, из которых заимствовал слова Аргиропулос.

— Я могу предоставить в ваше распоряжение сотню бесстрашных

феллахов, которые, под влиянием курбаша, могут взрыть ногтями всю землю до ее центра. Если угодно вашей светлости, мы можем откопать засыпанного песками сфинкса, расчистить храм, открыть подземную гробницу…

Видя, что лорд относится бесстрастно к этому заманчивому перечислению и что скептическая улыбка бродит на губах ученого, Аргиропулос понял, что их не легко провести, и утвердился в намерении продать англичанину свое открытие, чтобы округлить свое маленькое состояние и дать приданое дочери.

— Я угадываю, что вы ученые, а не простые путешественники, и что обычные достопримечательности вас не соблазнят, — продолжал он свою речь на английском языке, с меньшей уже примесью греческого, арабского и итальянского. — Я открою вам гробницу, которую до сих пор не коснулись никакие исследования и которую никто не знает, кроме меня; это сокровище я оберегал для того, кто будет его достоин.

— И кого вы заставите дорого заплатить за это, — сказал лорд с улыбкой.

— Моя искренность препятствует мне возражать вашей светлости: я надеюсь извлечь хорошую выгоду из моей находки. Каждый в этом мире живет своим промыслом; я откапываю Фараонов и продаю их иностранцам. При настоящем порядке вещей Фараон становится редок; не хватит на всех. Но на этот товар есть спрос, и его фабрикуют уже давно.

— Действительно, — сказал ученый, — уже несколько веков тому назад колхиты, парасхиты и тарисхевты закрыли лавочку, и Мемнониа, спокойные кварталы мертвых, были опустошены живыми.

Грек, услышав эти слова, бросил искоса взгляд на немецкого ученого; но, заключая по беспорядочности его одежды, что он не имеет совещательного голоса при обсуждении вопроса, продолжал считать лорда единственным собеседником.

— Милорд, за гробницу величайшей древности, которой не коснулась человеческая рука в течение трех тысяч лет и которую жрецы завалили скалами перед ее входом, тысячу гиней! Много ли это? В сущности, это даром, потому что она, весьма возможно, заключает в себе массы золота, ожерелья из бриллиантов и жемчугов, серьги с карбункулами, печати из сапфира, древних идолов из драгоценных металлов и монеты; из всего этого можно извлечь большую выгоду.

— Хитрый плут! — сказал Румфиус, — вы набиваете цену на ваш товар! Но вы знаете лучше всех, что ничего подобного не находится в египетских гробницах.

Аргиропулос, понимая, что имеет дело с сильным противником, кончил свою болтовню и, обращаясь к лорду Ивендэлю, спросил:

— Итак, милорд, эта сделка подходящая для вас?

— Хорошо, тысяча гиней, — ответил лорд. — Если гробница не была еще никем открыта, как вы утверждаете, и ровно ничего… если хоть одного камня коснулись изыскатели.

— И с условием, что мы увезем все, что найдется в гробнице, — прибавил предусмотрительный Румфиус.

— Согласен, — ответил Аргиропулос, с видом полнейшей уверенности, — ваша светлость может заранее приготовить свои чеки и свое золото.

— Дорогой Румфиус, — сказал лорд Ивендэль своему спутнику, — ваше желание, как мне кажется, осуществится; этот чудак, по-видимому, уверен в своем деле.

— Дай Бог! — ответил ученый, несколько раз поднимая и отворачивая воротник своего сюртука с движением скептического сомнения. — Греки такие бессовестные лгуны! Cretoe mendaces[1], как утверждает пословица.

— Это, без сомнения, грек не с острова Крита, а с материка, — сказал лорд Ивендэль, — и я думаю, что только на этот раз он сказал правду.

Руководитель раскопок шел на несколько шагов впереди лорда и ученого; как человек благовоспитанный, знакомый с приличиями, он шел веселым и уверенным шагом, зная свои владения.

Скоро они пришли к узкому ущелью, ведущему в долину Бибан-эль-Молюк. Можно было бы подумать, что это ущелье высечено рукой человека в массивной ограде скал, а не создано природой; точно гений пустыни хотел сделать недоступным жилище мертвых.

На отвесных откосах скалы глаз мог различить бесформенные остатки скульптуры, источенной временем, которые можно было принять за шероховатости камней, напоминающие полустертые фигуры барельефов.

За этим проходом долина, несколько расширяясь, представляла мрачную и безотрадную картину.

По сторонам возвышались крутые склоны громадных известковых скал, морщинистых, пятнистых, бесплодных, покрытых трещинами, пыльных, взъерошенных под беспощадными лучами солнца. Эти скалы походили на остовы мертвых, обугленные на костре; они своими глубокими расщелинами источали тоску Вечности и тысячами своих трещин они умоляли о капле воды, которая никогда не падает на них. Стены скал поднимались очень высоко, почти отвесно, и неровные гребни из серовато-белых вершин вырезались в небе, цвета индиго, почти черном, подобно

разрушающимся зубцам развалин гигантской крепости.

Солнечные лучи раскаляли добела одну из сторон погребальной долины, а другая была залита тем резким синим цветом жарких стран, который кажется почти неправдоподобным в странах Севера на картинах живописцев, и очертания которого так же отчетливы, как тени на чертеже архитектора.

Долина уходила вдаль, то делая повороты, то сжимаясь в виде ущелья. Благодаря особенности этого климата, в котором атмосфера, абсолютно лишенная влаги, совершенно прозрачна, не было воздушной перспективы в этой долине отчаяния; все очертания, определенные, резкие, сухие, обрисовывались до последнего плана, и их отдаленность угадывалась только по их малым размерам; точно жестокая природа не хотела скрыть ни малейшей печальной, безотрадной черты этой безжизненной земли, более мертвой, чем мертвые, которых она в себе заключала.

На освещенной стене долины струился огненным каскадом ослепительный свет, подобный свету расплавленных металлов. И каждая гладкая поверхность на скатах, превращенная в пылающее зеркало, отражала этот свет еще более пламенно. Эти перекрестные отражения в соединении с горячими лучами, падающими с неба и отраженными почвой, развивали жар, подобный пламени горна, и бедному немецкому доктору, чтоб отирать пот со лба, уже не было достаточно его платка с синими клетками, мокрого, точно после погружения в воду.

Во всей долине не было ни дюйма земли, годной для растений; ни травка, ни терния, ни лиана, ни клочок мха — ничто не нарушало однообразный беловатый цвет этой сожженной солнцем долины. В склонах и изгибах скал не было ни малейшей влажности, достаточной для того, чтобы жалкое ползучее растение могло пустить свой чахлый корень. Можно было бы сказать: груды пепла, оставшиеся на месте горной цепи, сгоревшей в период космических катастроф в великом пожаре планеты; в довершение сходства — широкие, черные полосы, подобные рубцам от огненных ран, пересекали беловатый склон возвышенности.

Совершенное безмолвие царило над этой пустыней; его не нарушало никакое содрогание жизни: ни биение крыла, ни жужжание насекомого, ни бег ящерицы или пресмыкающегося; даже не слышалось стрекотания стрекозы, любящей жаркие пустыни.

Слюдяная пыль, блестящая, подобная смолотому граду, составляла почву, и на ней изредка возвышались округленные холмы, образовавшиеся от осколков камней, исторгнутых из недр скал острием пещерных работников, приготовлявших во мраке вечном жилища мертвых.

Раздробленные недра горы составили другие пригорки из рассыпчатых масс мелких кусков скалы, и их можно было принять за естественную цепь холмов.

В недрах скал открывались местами черные пасти, обрамленные глыбами камней в беспорядке, четырехугольные отверстия; по бокам их пилястры были исчерчены иероглифами, а на архитравах высечены мистические изображения: в большом желтом круге священный скарабей или бог солнца с головой овна и на коленях пред ним богини Изида и Нефеис.

То были гробницы древних фивских царей, но Аргиропулос не остановился перед ними и повел путешественников по подъему, который сперва казался только трещиной горы и много раз прерывался обрушившимися глыбами. Они пришли к узкой площадке, выступавшей в виде карниза над отвесной стеной, и там скалы, на вид сгруппированные в беспорядке, представляли, при тщательном наблюдении, подобие симметрии.

Когда лорд, испытанный во всех гимнастических упражнениях, и ученый, гораздо менее ловкий, добрались наконец туда, то Аргиропулос указал тростью на громадный камень и произнес с видом торжествующей удовлетворенности: „Здесь!”

Аргиропулос ударил в ладоши по-восточному, и тотчас из щелей скал, из закоулков долины с величайшей поспешностью сбежались худые, в рубищах, феллахи, потрясая в своих бронзового цвета руках рычаги, мотыги, молоты, лестницы и всякие инструменты; они вскарабкались по скале, как стая черных муравьев. Те из них, которым не нашлось места на узкой площадке, уцепились ногтями и уперлись согнутыми ногами в выступы скалы.

Грек сделал знак трем наиболее сильным, и они подвели свои рычаги под тяжелую каменную глыбу. Мускулы, точно веревки, обрисовались на их худых руках, и всей своей тяжестью они налегли на концы железных полос. Наконец глыба поколебалась, закачалась, как опьянелый человек, и под усилиями лорда Ивендэля, Румфиуса и нескольких арабов, которым удалось взобраться на площадку, покатилась, отскакивая, по склону горы. Два камня меньших размеров были сдвинуты один за другим, и тогда стало ясно, насколько были справедливы предположения грека. Вход в гробницу, очевидно, ускользнувшую от искателей, появился во всей своей неприкосновенности.

Это было подобие портика, высеченного прямо в цельной скале; на боковых стенах две парных колонны были увенчаны капителями в виде

коровьих голов, с округленными рогами, как в изображениях Изиды.

Над низкой дверью, окаймленной длинными столбцами иероглифов, развертывалась большая эмблематическая картина: в средине желтого диска, рядом со скарабеем, символом последовательных возрождений, был изображен бог с головой овна, символ заходящего солнца, а вне круга, Изида и Нефеис, олицетворения начала и конца, коленопреклоненные в условной египетской позе с простертыми перед собой руками с выражением мистического изумления, в узких, обтягивающих тело передниках, стянутых поясами с висячими концами.

За стеной из обломков камней и необожженных кирпичей, которая легко уступила киркам рабочих, открылась стена, представляющая собой дверь подземного сооружения.

На глиняной печати, запечатавшей ее, немецкий ученый, хорошо знакомый с иероглифами, без труда прочел девиз колхита, хранителя жилищ мертвых, закрывшего эту гробницу, вход в которую он один мог найти на карте могил, хранимой в коллегии жрецов.

— Я начинаю думать, — сказал молодому лорду ученый, преисполненный радости, — что мы действительно нашли птицу в гнезде, и я беру назад неблагоприятный отзыв, который я высказал об этом славном греке.

— Может быть, мы радуемся слишком рано, — ответил лорд Ивендэль, — и мы испытаем такое же разочарование, как Бельцони, который полагал, что прежде всех входит в гробницу фараона Менефта Сети, а, пройдя через целый лабиринт коридоров, колодцев и комнат, нашел пустой саркофаг с разбитой крышкой: искатели сокровищ проникли в царскую гробницу своим путем, прорытым с другой стороны горы.

— О нет, — возразил ученый, — скала здесь слишком тверда и этот *ипогей* слишком удален от других, для того чтобы зловредные кроты могли пробить в камне свои ходы до этого места.

Во время этого разговора рабочие, побуждаемые Аргиропулосом, взялись за большую каменную плиту, закрывавшую вход. Очищая от земли ее основание, чтоб подвести под нее рычаги (потому что лорд приказал ничего не разбивать), они откопали в песке множество маленьких фигур, высотою в несколько дюймов, из эмалированной глины, голубой и зеленой, тонкой работы, изящных погребальных статуэток, принесенных в дар родными и друзьями, подобно тому, как мы оставляем венки на пороге погребальных часовен; но наши цветы скоро вянут, а по прошествии более трех тысяч лет знаки древней скорби остались неприкосновенными, потому что Египет мог создавать только вечное.

Когда каменная дверь была удалена, открыв через тридцать пять веков впервые доступ солнечным лучам, поток горячего воздуха вырвался из темного отверстия, как из устья печи. Как будто пламенные легкие горы испустили вздох облегчения чрез долго замкнутые уста. Свет, отваживаясь проникнуть в погребальный коридор, зажег яркие краски росписи иероглифов, высеченных вдоль стен перпендикулярными рядами над голубой полосой внизу. Красноватого цвета фигура с головой копчика, увенчанной *пшентом*, поддерживала крылатый круг и, казалось, охраняла порог гробницы, как страж Вечности.

Некоторые из феллахов зажгли факелы и пошли впереди путешественников, за которыми следовал Аргиропулос; пламя смолы слабо трещало в густом воздухе, удушливом, спертом в течение тысячелетий в непроницаемом камне горы, в коридорах погребального лабиринта. Румфиус тяжело дышал, обливаясь ручьями пота; даже бесстрастный Ивендэль краснел и чувствовал влагу на висках. Только грек, которого давно иссушил ветер пустыни, столько же испытывал испарину, как мумия.

Коридор углублялся прямо к центру горной цепи, следуя путем известковой жилы, чрезвычайно однородной и чистой.

В глубине коридора каменная дверь, запечатанная, подобно входной, глиняной печатью и увенчанная кругом орлами с распростертыми крылами, ясно говорила, что гробница никем не была тронута, и указывала на существование другого коридора, идущего еще глубже в недра горы.

Жара становилась так нестерпима, что юный лорд снял с себя белое пальто, а доктор свой сюртук, а вслед за тем — жилеты и рубашки. Аргиропулос, видя, что им тяжело дышать, сказал несколько слов одному из феллахов; тот побежал ко входу подземелья и принес две большие губки, напитанные холодной водой, и путешественники, по совету грека, приложили их к губам, чтоб вдыхать более свежий воздух.

Взялись за дверь, которая скоро поддалась.

Показалась высеченная в скале лестница, круто спускавшаяся вниз.

На зеленом фоне, окаймленном голубой чертой, по обеим стенам следовали процессии небольших эмблематических фигур в таких ярких красках, будто кисть живописца написала их накануне; они появлялись на мгновение в свете факелов и тотчас исчезали во тьме, подобно видениям сна.

Над этими полосами фресок линии иероглифов, разделенных бороздами, являли пред глазами учености свою священную тайну.

Вдоль стен, там, где не было иератических знаков, шакал, лежа на животе, протянув лапы, подняв уши, и коленопреклоненная фигура в

митре, с рукой, положенной на круг, казалось, сторожили дверь, притолока которой была украшена двумя соединенными плитами, поддерживаемыми двумя женщинами в узких передниках, с простертыми, наподобие крыла, оперенными руками.

— Однако! — сказал доктор, переводя дух внизу лестницы и видя, что высеченный в камне ход все продолжается, — не дойдем ли мы до центра земли? Жара настолько усиливается, что мы, наверное, уже недалеко от местопребывания грешников в аду.

— Без сомнения, — промолвил лорд Ивендэль, — при работе следовали направлению известковой жилы, которая идет вглубь, по закону геологических колебаний.

Другой проход, достаточно отлогий, начался вслед за ступенями. Стены были также покрыты живописью, в которой смутно различался ряд аллегорических сцен, без сомнения разъясняемых иероглифами, помещенными сверху в виде надписи. Эта кайма шла вдоль всего хода. А внизу были небольшие фигуры в позе обожания перед священным скарабеем и символической змеей, покрытой лазурной краской.

В глубине коридора феллах, несший факел, откинулся назад резким движением.

Путь внезапно прерывался, и на полу зияло квадратное и черное отверстие колодца.

— Здесь колодец, — обратился феллах к Аргиропулосу. — Что делать?

Грек приказал подать себе факел, помахал им, чтоб он лучше разгорелся, и бросил его в темную пасть колодца, осторожно склоняясь над отверстием.

Факел полетел вниз, кружась и издавая свист; скоро послышался глухой стук, замелькали искры и поднялся клуб дыма. Потом пламя засветилось ярче и живей, и устье колодца засияло в темноте, как кровавый глаз циклопа.

— Трудно быть хитрее, — сказал лорд, — эти лабиринты, прерываемые такими западнями, могут успокоить рвение грабителей и ученых.

— Что ж! Одни ищут золота, другие истины, — ответил доктор, — и то, и другое всего драгоценнее в мире.

— Принесите веревку с узлами, — крикнул Аргиропулос своим людям, — мы исследуем стены этого колодца, потому что подземелье идет намного дальше.

Восемь или десять человек для равновесия уцепились за один конец веревки, а другой конец спустили в колодец.

С проворством обезьяны или профессионального гимнаста Аргиропулос повис на свободном конце веревки и опустился вниз футов на пятнадцать, держась руками за узлы и ударяя подошвами о стены колодца.

Камень везде ответил глухим и ровным звуком; тогда Аргиропулос спустился на самое дно, ударяя о землю рукоятью своего кинжала, но сплошная масса скалы не давала отзвука.

Ивендэль и Румфиус, охваченные тревожным любопытством, наклонились к краям колодца, рискуя упасть туда головою вниз, и со страстным интересом следили за исследованиями грека.

— Держите крепче, наверху, — крикнул он наконец, утомленный бесполезностью своих розысков, и схватился обеими руками за веревку, чтобы выбраться из колодца.

Тень Аргиропулоса, освещенная снизу факелом, горевшим на дне, рисовалась на потолке подобно силуэту безобразной птицы.

Смуглое лицо грека выражало сильное огорчение, и он кусал себе губу под усами.

— Нет ни малейшего признака прохода! — воскликнул он. — Между тем здесь не может быть конец подземелья.

— Если только египтянин, приказавший приготовить себе эту могилу, не умер в каком-нибудь отдаленном округе, в путешествии или на войне, и если потому работы не были прекращены, — сказал Румфиус, — этому есть примеры.

— Будем надеяться, что путем розысков мы найдем какой-нибудь тайный выход, — прибавил лорд Ивендэль. — Если же нет, то попытаемся пробить поперечную галерею в горе.

— Эти проклятые египтяне так хитро умели скрывать вход в свои погребальные жилища! Что только они не выдумывали для того, чтобы спутать бедняков, и можно было сказать, что они заранее смеялись над огорченным видом искателей, — бормотал Аргиропулос.

Подвигаясь вперед над краем пропасти, грек своим взглядом, острым как у ночной птицы, всматривался в камни стен этой комнаты, находившейся над колодцем. Он видел только обычные изображения картин странствования души, Озириса, судью на троне в обычной позе с жезлом в одной руке и бичом в другой, и богинь Правосудия и Истины, проводящих дух усопшего пред судилище Аменти.

Вдруг его озарила мысль, и он перешел в наступление; давняя опытность предпринимателя раскопок напомнила ему сходный случай и к тому же желание заработать тысячи гиней обостряло его способности: он взял из рук феллаха рычаг и принялся с силою ударять направо и налево по

поверхности камня, рискуя изувечить иероглифы или клиов, или надкрылие у копчика, или священного жука.

Стена, наконец, дала ответ на удары, и в одном месте звук обнаружил пустое пространство.

Из груди грека вырвался крик победы, и его глаза заблестели.

Ученый и лорд захлопали в ладоши.

— Разбивайте здесь стену, — сказал своим людям Аргиропулос, снова хладнокровный.

Скоро образовался пролом, достаточный, чтобы пройти одному человеку. Галерея в скале, обходившая колодец, предназначенный для нарушителей могильного покоя, вела в квадратную залу, в которой голубой потолок покоился на четырех массивных столбах, расписанных фигурами с красной кожей и в белых передниках, которые часто на египетских фресках обращают свой торс прямо к зрителям, а голову в профиль.

Эта зала вела к другой с немного более высоким потолком на двух столбах. Различные картины, мистическая ладья, бык Апис, уносящий мумию на Запад, суд над душой, взвешивание деяний усопшего на весах высшей справедливости и приношение погребальных божествам украшали столбы залы.

Все эти изображения были начертаны барельефами неровной выпуклости, но кисть живописца не завершила работу резца. Тщательность и тонкость работы давали возможность судить о важном значении того человека, могилу которого так старались скрыть от людей.

После нескольких минут, посвященных осмотру этих изображений, высеченных со всей чистотой египетского стиля классической поры, стало видно, что дальше не было выхода. В сгущенном воздухе факелы слабо горели, и их дым собирался в облака. Снова исследовали стены, но без всякого результата; сплошная, пыльная скала всюду отвечала ровным звуком; никаких признаков двери, коридора, какого-нибудь выхода!

Лорд был, видимо, смущен, а руки ученого бессильно висели вдоль его тела. Аргиропулос, страшившийся за свои двадцать пять тысяч франков, проявлял жесточайшее отчаяние. Притом следовало начать отступление, потому что жара становилась совершенно удушливой.

Все они перешли в первую залу, и там грек, который не мог допустить, чтобы обратилась в дым его золотая мечта, принялся самым тщательным образом изучать основания колонн, чтобы удостовериться, не скрывают ли они какой-нибудь хитрый секрет, не маскируют ли они какой-нибудь люк, который откроется, если их передвинуть; в отчаянии он смешивал подлинность египетской архитектуры с фантастическими сооружениями

арабских сказок.

Но столбы, вырубленные в сплошном камне скалы среди залы, составляли с ней одно целое и нужен был бы взрыв, чтобы их поколебать.

Всякая надежда была потеряна!

— Однако же не для забавы устроили этот лабиринт, — сказал Румфиус. — Должен быть проход, подобный тому, который огибает колодезь. Может быть, есть ловко замаскированная плита и ее очертания нельзя различить под пылью на полу, которая скрывает спуск, ведущий прямо или косвенно к погребальной зале.

— Вы правы, дорогой доктор, — ответил Инвендэль, — эти проклятые египтяне соединяют камни точно так же, как шарниры английских трапов, будем искать.

Мысль ученого показалась справедливой греку, который стал ходить сам и вместе со своими феллахами по всем закоулкам залы, стуча о пол подошвами.

Наконец недалеко от третьего столба глухой отзвук поразил опытное ухо грека, который бросился на колени, чтобы рассмотреть это место, сметая отрепьями бурнуса одного из арабов тонкую пыль, скопившуюся в течение тридцати пяти веков во мраке и в тишине. Черная черта, тонкая и ровная, как линия на архитектурном плане, обрисовалась, определяя на полу очертания продолговатой плиты.

— Говорил я вам, — воскликнул ученый в восторге, — что не могло так кончиться подземелье!

— Поистине, мне совестно, — сказал лорд Ивендэль с своеобразной британской флегмой, — тревожить последний сон этого бедного неведомого тела, которое надеялось почивать в мире до скончания веков. Хозяин этого жилища прекрасно обошелся бы без нашего посещения.

— Тем более, что недостает третьего лица для этикета представления. Но не беспокойтесь, милорд: я много жил во времена фараонов и могу вас ввести к важному лицу, обитающему в этом подземном дворце.

В узкие отверстия были пропущены два лома, после нескольких усилий плита поколебалась и поднялась.

Лестница с высокими и крутыми ступенями открылась перед нетерпеливыми стопами путешественников, которые поспешно устремились вниз. За ступенями началась покатая вниз галерея, расписанная по стенам фигурами и иероглифами; в конце ее снова несколько ступеней, ведущих к другому короткому коридору, подобию сеней перед залой, сходной с первой, но более обширной, с шестью столбами, высеченными в массе скалы. Роспись была еще богаче, и

обычные изображения гробниц во множестве обрисовывались на желтом фоне.

Направо и налево открывались в скале две маленьких крипты — комнаты, наполненные погребальными статуэтками из эмалированной глины, бронзы и сикаморового дерева.

— Вот мы в преддверии той залы, где должен находиться саркофаг! — воскликнул Румфиус, и под стеклами его очков, которые он поднял на лоб, его серые глаза сверкали радостью.

— До сих пор грек выполняет свое обещание, — сказал Ивендэль, — мы несомненно первые из живых проникаем сюда после того, как в этой могиле умерший был отдан Вечности и Неведомому.

— О, это, должно быть, было знатное лицо, — ответил доктор, — царь или сын царя, по меньшей мере; я вам это скажу позже, когда прочту надпись. Но перейдем в эту залу, самую прекрасную, самую главную, которую египтяне называли *позлащенной залой.*

Лорд Ивендэль шел первый, на несколько шагов впереди ученого, менее проворного или желавшего уступить лорду первенство в открытии.

Перед тем как переступить порог, лорд наклонился: как будто нечто неожиданное поразило его взоры.

Несмотря на привычку не проявлять своего волнения, потому что всего более противоречит правилам высшего дендизма удивлением или восторгом признать себя ниже какого-либо явления, — молодой лорд не мог не произнести: *о*! — долгого и модулированного на британский лад.

И вот что исторгло восклицание из уст самого совершенного в трех Соединенных Королевствах джентльмена.

На тонкой серой пыли, покрывавшей пол, очень отчетливо обрисовывалась с отпечатком всех пальцев и пятки, форма человеческой ноги, ноги последнего жреца или последнего друга, который за пятнадцать веков до Рождества Христова ушел отсюда, воздав усопшему последние почести.

Пыль такая же вечная в Египте, как и гранит, запечатлела очертания этой ноги и сохранила их в течение более тридцати веков, подобно тому, как слои земли, слои периода потопов сохраняют окаменелыми следы ног животных.

— Взгляните, — сказал Ивендэль Румфиусу, — на этот отпечаток человеческой ноги, которая направляется к выходу из подземелья. В какой гробнице Либийской цепи покоится окаменелое в бальзамах тело того, кто оставил этот след?

— Кто это знает? — ответил ученый. — Во всяком случае, этот легкий

след, который могло бы смести дуновение, пережил цивилизацию империи, даже религии и памятники, считавшиеся вечными. Прах Александра, может быть, служит замазкой для щели в бочке пива, как рассуждал Гамлет, а стопа неведомого египтянина жива на пороге могилы!

Увлеченные любопытством, не допускавшим долгих размышлений, лорд и ученый проникли в залу, остерегаясь, однако, стереть чудесный отпечаток.

Войдя туда, невозмутимый Ивендэль испытал необычайное впечатление.

Ему казалось, что, как выразился Шекспир, „колесо времени вышло из своей колеи”: ощущение современной жизни исчезло в нем. Он забыл и Великобританию, и свое имя, записанное в золотой книге дворянства, и свои замки в Линкольншире, и свои дворцы в Уэст-Энде, и Гайд-Парк, и Пикадилли, и салоны королевы, и яхт-клуб — все, что было связано с его жизнью англичанина. Невидимая рука перевернула песочные часы Вечности, и века, упавшие, точно песчинка за песчинкой, в тишину и мрак, возобновили свое течение. Истории как будто не было: Моисей живет, Фараон царствует, а он сам, лорд Ивендэль, смущен тем, что на нем не надеты полосатый головной убор, нагрудник из эмалей и узкий передник, обтягивающий бедра, — единственное одеяние, пристойное для того, чтобы приблизиться к царственной мумии. Какой-то религиозный ужас овладел им при мысли о поругании этого чертога Смерти, так заботливо защищенного от нарушителей его святыни. Попытка проникнуть в него казалась ему нечестивой и святотатственной, и он подумал: „Что если Фараон восстанет со своего ложа и ударит меня жезлом!” На мгновение он готов был опустить едва приподнятый саван трупа этой древней цивилизации. Но доктор, увлеченный научным энтузиазмом, не думал об этом и вдруг громогласно воскликнул:

— Милорд, милорд! Саркофаг не тронут.

Эта фраза вернула лорда Ивендэля к сознанию действительной жизни. Стремительным полетом мысли он перенесся через тридцать пять веков, в которые погрузилась его мысль, и ответил:

— Правда, дорогой доктор, не тронут?

— Неслыханное счастье! Чудесная удача! Бесценная находка! — продолжал доктор в излияниях восторга ученого.

При виде энтузиазма доктора Аргиропулос почувствовал раскаяние, единственно доступное ему раскаяние: зачем он спросил только двадцать пять тысяч франков.

„Я был наивен, — подумал он, — больше не представится такого

случая; этот милорд меня обокрал”.

И он дал себе обещание исправиться на будущее время.

Чтобы доставить путешественникам наслаждение всей картиной сразу, феллахи зажгли все свои факелы. Зрелище было действительно странное и великолепное! Залы и галереи, ведущие к зале саркофага, имели плоские потолки и не более восьми или десяти футов в высоту; но святилище, к которому примыкали эти переходы, имело совсем иные размеры. Лорд Ивендэль и Румфиус обомлели от восторга, хотя уже и освоились с великолепием египетских гробниц.

При освещении *позлащенная зала* загорелась красками, и впервые, может быть, ее живопись засияла во всей своей радостной красоте. Красные, голубые, зеленые, белые краски, девственной свежести, необычайной чистоты, вырезались на позолоте, служившей фоном для фигур и иероглифов, и поражали глаза прежде, чем они могли различить очертания фигур в их группировке.

С первого взгляда можно было бы сказать: громадная обивка стен из драгоценнейшей ткани; свод, в тридцать футов высотой, представлял подобие лазурного велариума, окаймленного длинными желтыми листами пальм.

На стенах широко раскрывались крылья символических кругов и обрисовывались очертания царских гербов. Изида и Нефеис потрясали руками, обрамленными перьями наподобие крылышек птенцов. Змеи вздували свое голубое горло, жуки пытались расправить крылья, боги с головами животных поднимали свои уши шакалов, вытягивали клюв копчика и мордочку обезьян кинонефалов, опускали в плечи шею коршуна или змеи, как будто одаренные жизнью. Мистические ковчеги богов двигались на своих полозьях, влекомые фигурами в одинаковых позах с угловатыми жестами, или плавали на водах, симметрично волнующих, с полунагими гребцами. Плакальщицы, склонив колени и положив, в знак печали, правую руку на свои синие волосы, обращались к катафалкам, а жрецы с бритыми головами, с леопардовой шкурой на плече, сжигали благовония перед носом обожествленных покойников. Другие фигуры подносили погребальным гениям лотосы, распустившиеся или в бутонах, луковичные растения, птиц, туши антилоп и сосуды с вином. Безглавые духи Правосудия приводили души умерших к Озирису, с руками в застывшем очертании, точно связанными в смирительной рубахе, окруженному сорока двумя судьями Аменти с головами всевозможных животных, украшенными неподвижным страусовым пером.

Все эти изображения, очерченные резкой чертой, проведенной на

камне, и расцвеченные самыми яркими красками, были одушевлены неподвижной жизнью, и застывшим движением, и таинственной выразительностью египетского искусства, подчиненного жреческим правилам, которое напоминает человека с замкнутым ртом, силящегося выразить свою тайну.

Среди зала возвышался тяжелый и величественный саркофаг, высеченный из громадной глыбы черного базальта, с крышей из такого же камня. Четыре стороны погребального монолита были покрыты фигурами и иероглифами, вырезанными с такой же тонкостью, как на драгоценном камне кольца, хотя египтяне не знали железа и не знали, что твердость базальта может затупить самую твердую сталь. Воображение отказывается понять, каким способом этот изумительный народ писал на порфире и граните, точно простым острием на восковых дощечках.

На углах саркофага были поставлены четыре вазы из восточного алебастра самого изящного и чистого рисунка; их крышки изображали: человеческую голову бога Амест, обезьянью голову бога Гапи, голову шакала — бога Самаутф и голову копчика — бога Кебсбниф. В этих вазах хранились внутренности мумии, скрытой в саркофаге. В головах — изображение Озириса с бородой, заплетенной в косы, казалось, охраняло покой умершего. Две раскрашенных статуи женщин стояли направо и налево от саркофага, поддерживая одной рукой квадратный ящик на голове, а в другой держа у бедра сосуд с возлияниями. Одна из этих женщин была одета в простую белую юбку, облегающую бедра и висящую на скрещенных помочах, другая, в более богатом одеянии, была обтянута подобием узкого чехла, украшенного красной и зеленой чешуйками.

Рядом с первой статуей были поставлены три кувшина, наполненных некогда водою Нила, которая, испарившись, оставила свой илистый осадок, и блюда с какой-то пищей, которая высохла.

Рядом со второй — два маленьких корабля, похожих на модели судов, изготовляемых в портах, в точности напоминали: один — ту барку, на которой тела умерших перевозились из Диосполиса в Мемнониа, а другой — символический корабль, который переселяет души в области Запада. Ничто не было забыто: ни мачты, ни руль в виде длинного весла, ни кормчий и гребцы, ни мумия среди плакальщиц, покоящаяся под сенью маленького храма на ложе с львиными лапами, ни аллегорические изображения погребальных божеств, исполняющих свое священное служение. Ладьи и люди были окрашены яркими красками, и с каждой стороны носовой части, вытянутой наподобие клюва, глядел большой глаз Озириса, удлиненный черной краской. Разбросанные кости быка указывали

на то, что здесь была принесена жертва для отвращения дурных явлений, которые могли бы нарушить покой Смерти. Раскрашенные и испещренные иероглифами ларцы были положены на гробнице. На столах из тростника еще лежали похоронные приношения; ничто не было тронуто в этом чертоге Смерти с того дня, как мумия в своем картонаже и двух гробах почила на базальтовом ложе. Могильный червь, умеющий находить путь в самые плотно закрытые гробы, был отброшен сильным запахом смолы и аромата.

— Надо ли открыть саркофаг? — спросил Аргиропулос, дав время лорду Ивендэлю и Румфиусу полюбоваться великолепием позлащенной залы.

— Конечно! — ответил юный лорд. — Но остерегитесь исцарапать края крыши ломами; потому что я хочу увезти гробницу и подарить ее Британскому музею.

Все рабочие соединили свои силы для того, чтобы сдвинуть монолит; осторожно пропустили деревянные клинья, и после нескольких минут работы громадный камень сдвинулся с места и скатился по приготовленным для этого подпоркам. Внутри саркофага оказался первый гроб, герметически закрытый. Это был ящик, украшенный живописью и позолотой, изображающий собою подобие маленького храма, с симметричными рисунками, зигзагами, квадратами, пальмовыми листьями и строками иероглифов. Оторвали крышку, и Румфиус, склонясь к краю саркофага, испустил крик изумления: „Женщина! Женщина!” — восклицал он, распознав мумию по отсутствию бороды и по форме картонажа.

Грек, казалось, также был удивлен; его давняя опытность в раскопках давала ему возможность понять, насколько подобная находка была необычайной. Долина Бибан-эль-Молюк заключает в себе только гробницы Фивских царей. Кладбище цариц находится далее, в другом выходе из долины. Их гробницы проще и состоят обыкновенно из двух или трех коридоров и двух или трех комнат. На женщин на Востоке всегда смотрели, как на низшие существа, даже после смерти. Большая часть этих гробниц, опустошенных еще в древние времена, послужила местом погребения безобразных мумий, грубо набальзамированных, со следами проказы и слоновой болезни. По какой же странной случайности, по какому чуду, в силу какой подмены гроб женщины находился в царском саркофаге, в этом подземном дворце, достойном самого знаменитого и могущественного из Фараонов?

— Это нарушает, — сказал доктор лорду Ивендэлю, — все мои представления и теории и ниспровергает самые обоснованные системы

понимания египетских погребальных обрядов, которые выполнялись с точностью в течение тысячелетий! Мы приблизились, несомненно, к какому-то темному пункту, к какой-то утраченной тайне истории. Женщина вступила на престол фараонов и правила Египтом. Она носила имя Тахосер, если верить надписям, высеченным на месте других, более древних; она захватила в свою власть чужую могилу, так же, как и трон, или же какая-нибудь честолюбивая женщина, забытая историей, повторила после нее ее покушение.

— Никто не в силах лучше вас разрешить эту трудную задачу, — сказал лорд Ивендэль, — мы перенесем этот таинственный гроб в нашу барку, где вы свободно развернете этот исторический документ и без сомнения разгадаете тайны, которые скрывают эти копчики, эти скарабеи, эти коленопреклоненные фигуры и зубчатые линии, и крылатые змеи, и протянутые руки; вы читаете их так же легко, как и великий Шамполлион.

Феллахи, по указаниям Аргиропулоса, подняли на плечи громадный ящик, и мумия, совершая путь, обратный тому, который она совершала во времена Моисея в расписанной и раззолоченной ладье, в предшествии длинной свиты, была перенесена на сандаль, доставивший путешественников, и скоро прибыла на роскошную барку на Ниле и была поставлена в каюте, довольно схожей с храмом погребальной ладьи: настолько мало изменяются все формы в Египте.

Аргиропулос, разместив вокруг ящика все найденные при нем предметы, стал почтительно у дверей каюты и, по-видимому, ожидал. Лорд Ивендэль понял и поручил своему камердинеру отсчитать ему двадцать пять тысяч франков.

Открытый гроб лежал на подставках посреди каюты, блистая красками, такими живыми, точно эти украшения были написаны накануне, и в нем покоилась мумия, замкнутая в своем картонаже, изумительно тонко и богато отделанном.

Никогда еще древний Египет не пеленал с большей заботливостью одного из своих детей для вечного сна. Хотя формы не обозначались сквозь этот тесный погребальный покров, в котором обрисовывались только плечи и голова, но смутно угадывалось молодое и изящное тело. Позолоченная маска с удлиненными, обведенными черной чертой и оживленными эмалью глазами, нос с нежно обрисованными ноздрями, округленными щеками, с пышными губами и неописуемой улыбкой сфинкса, подбородок немного короткий, но необычайно изящного очертания — все это представляло самый чистый тип египетского идеала и доказывало многими характерными чертами, что искусство не вымышляет индивидуальные

особенности портрета. Множество тонких кос, разделенных в виде прядей, падали пышными прядями по обе стороны маски. Стебель лотоса, поднимаясь от затылка, округлялся над головой и закрывал свою лазурную чашечку над матовым золотом чела, дополняя вместе с погребальным конусом роскошную и изящную прическу.

Широкий нагрудник, составленный из тонких эмалей, соединенных золотом, обнимал нижнюю часть шеи и спускался многими рядами, позволяя видеть округленные, как две чаши, крепкие и чистые девственные груди.

На груди — священная птица с головой овна и между его зеленых рогов с красным кругом западного солнца, поддерживаемым двумя увенчанными змеями с надутым зобом, — чудовищное изображение, заключающее в себе символическое значение. Ниже, в свободных местах, среди поперечных полос, исполосованных яркими красками, ястреб бога Фрэ, увенчанный шаром, с раскрытыми крыльями, с симметрично расположенными на теле перьями и хвостом в виде веера, держал в каждой лапе мистическое **Тау** — символ бессмертия. Погребальные боги с зелеными ликами обезьяны и шакала подносили священным и резким жестом кнут, палку, жезл; око Озириса расширяло свой красный зрачок, очерченный черной краской, небесные змеи, с толстым горлом, окружали священные диски: символические фигуры протягивали свои руки, обрамленные зубчатыми рядами перьев, а богини Начала и Конца с голубыми волосами и нагим торсом и в узко обтягивающих тело юбках, преклоняли по египетскому обычаю колено на подушках, зеленых и красных, с большими кистями.

Продольная полоса иероглифов, от пояса до ног заключала в себе, без сомнения, какие-нибудь формулы религиозных обрядов или же имена и описания достоинств умершей; эту загадку Румфиус обещал себе разрешить тоже.

Вся эта живопись стилем рисунка, смелостью очертаний, блеском красок говорила с очевидностью для знатока о самом цветущем периоде египетского искусства.

Полюбовавшись этой первой оболочкой, лорд и ученый извлекли картонаж из ящика и поставили его у одной из стен каюты.

Странное зрелище представляла эта погребальная оболочка с позолоченной маской, стоящая во весь рост, как живой призрак, и принявшая снова жизненное положение после долгого покоя смерти на ложе из базальта в сердце горы, опустошенном нечестивым любопытством. И душа умершей, надеявшаяся на вечный покой, так заботливо охраняемый

от всякой попытки оскорбить ее останки, быть может, была взволнована за пределами мира среди своих скитаний и метаморфоз.

Румфиус, вооруженный резцом и молотом, чтоб разделить надвое картонаж мумии, напоминал одного из погребальных гениев с маской животного на лице, которые изображены на стенах подземелий, совершающими возле умерших какой-нибудь страшный и таинственный обряд; лорд Ивендэль, внимательный и спокойный, со своим чистым профилем походил на божественного Озириса, ожидающего душу для суда над нею и, чтобы продлить сравнение, его трость напоминала жезл бога.

Когда была кончена операция, довольно продолжительная, — потому что доктор не хотел повредить позолоту, — и картонаж, положенный на пол, разделился на две части, точно раковина, открылась мумия во всем великолепии гробового облачения, такого изящного, как будто она хотела соблазнить гениев подземного царства.

Картонаж был открыт, и в каюте распространился смутный и очаровательный запах ароматов, эссенции кедра, сандалового порошка, мирры и корицы; тело не было пропитано черной смолой, обращающей в камень трупы простых смертных, и, казалось, все искусство бальзамировщиков, древних обитателей квартала Мемнониа, было применено для сохранения этих драгоценных останков.

Голову покрывали узкие полосы тонкого льняного холста, под которыми смутно угадывались черты лица; бальзамы, которыми были напитаны эти полосы, окрасили их в прекрасный рыжеватый цвет. Начиная с груди, сеть тонких трубочек из голубого стекла скрещивала свои узлы маленькими золотыми бусами и, покрывая тело вплоть до ног, одевала усопшую бисерным саваном, достойным царицы, золотые статуэтки четырех богов Аменти блестели в симметричном порядке по верхнему краю сетки, законченной внизу богатой бахромой безукоризненного вкуса. Между изображениями богов над золотой бляхой скарабей из лапис-лазури развернул длинные позолоченные крылья.

Над головой мумии было наложено богатое зеркало из полированного металла, как будто желали дать возможность душе умершей созерцать призрак ее красоты во время долгой могильной ночи. Рядом с зеркалом эмалированный ларец драгоценной работы заключал в себе ожерелье из колец черного дерева, чередующихся с бусами из золота, лапис-лазури и сердолика. Сбоку тела была положена узкая умывальная чашка, квадратная, из сандалового дерева, служившая при жизни для благовонных омовений, и три алебастровых вазочки, заключавшие: первые две — бальзамы, запах которых был еще уловим, а третья — порошок антимония и маленькую

лопатку, чтобы окрашивать концы ресниц и удлинять наружный угол глаз, по древнему египетскому обычаю, применяемому и в наши дни восточными женщинами.

— Какой трогательный обычай! — сказал доктор Румфиус в восторге при виде всех этих сокровищ. — Похоронить с молодой женщиной весь арсенал ее туалета! А это, наверное, молодая женщина, окутанная этими холстами, пожелтевшими от времени и от эссенций. Рядом с египтянами мы поистине варвары, потому что у нас нет нежного отношения к смерти.

Сколько нежности, сожалений и любви открывают нам эти мелочные заботы, бесконечные попечения, эти бесцельные заботы, которые никто не увидит никогда, эти ласки бесчувственному телу, эти усилия исторгнуть у разрушения обожаемую форму и возвратить ее в неприкосновенном виде душ в день общего соединения.

— Может быть, — ответил задумчивый лорд Ивендэль, — наша цивилизация, которую мы считаем достигшей вершин, есть не более как глубокий упадок, не сохранивший даже исторической памяти о гигантских исчезнувших обществах. Мы глупо гордимся несколькими остроумными изобретениями механики последних дней и не думаем о колоссальном величии, о недоступных другим народам грандиозных созданиях земли Фараонов. У нас есть пар; но пар менее силен, чем та мысль, которая воздвигала пирамиды, выкатывала подземные гробницы, вырубала сфинксов и обелиски из скал, покрывала залы одной глыбой, которую не сдвинуть всем нашим машинам, высекала из камня капеллы и умела защитить от уничтожения хрупкие человеческие останки, настолько в ней было сильно чувство вечности.

— О, египтяне были дивные зодчие, — сказал с улыбкой Румфиус, — изумительные художники, глубокие ученые; жрецы Мемфиса и Фив поставили бы в тупик даже наших германских ученых, а в символике они имели силу нескольких крейцеров; но мы рано или поздно разберем их писания и вырвем у них тайну. Великий Шамполлион дал нам их азбуку; а мы теперь читаем свободно их гранитные книги. А пока со всевозможной осторожностью разденем эту юную красавицу более чем трехтысячелетнего возраста.

— Бедная леди! — промолвил молодой лорд, — глаза непосвященных будут смотреть на ее тайные красоты, которых, может быть, не видела сама любовь. О да! Под суетным предлогом науки мы поступаем, как дикари, подобные персам Камбиза. И если бы я не боялся довести до отчаяния этого почтенного доктора, то я, не поднимая последнего покрывала, заключил бы тебя снова в тройные стены твоего гроба.

Румфиус вынул из картонажа мумию, которая была не тяжелее тела ребенка, и начал ее распеленывать с ловкостью матери, которая хочет освободить члены своего птенца; он распорол прежде всего сшитую оболочку из холста, напитанную пальмовым вином, и широкие полосы, опоясывавшие в нескольких местах тело; потом он нашел конец тонкой полосы, обвивавшей бесконечными спиралями члены юной египтянки; он скатывал бинт так же легко, как бы мог это сделать один из самых ловких тарисхевтов погребального города. По мере того как подвигалась его работа, мумия, освобождаясь от своих утолщений, точно статуя, высекаемая из мраморной глыбы, становилась все более легкой и изящной. За этой полосой последовала другая, еще более узкая, назначавшаяся для того, чтобы теснее сжать члены. Она была так тонка и так ровно соткана, что могла бы сравниться с батистом и с кисеей наших дней. Точно следуя за всеми очертаниями тела, она связывала пальцы рук и ног и вплотную покрывала, как маска, черты лица, почти видимого сквозь тонкую ткань. Бальзамы, которыми ее напитали, как бы накрахмалили ее, и, отделяясь под пальцами доктора, она издавала легкий шелест, как бумага, которую мнут или разрывают.

Оставалось снять последний слой, и доктор Румфиус, хоть и привычный к подобным операциям, прервал на минуту свою работу или из некоторого уважения к целомудрию смерти, или же с тем чувством, какое препятствует человеку распечатать письмо, открыть дверь, поднять покрывало, скрывающее тайну, которую он жаждет узнать. Он же приписал эту остановку усталости, и действительно, пот струился с его лба, но он и не думал стереть его своим знаменитым платком с синими клетками; однако усталость тут была ни при чем.

Между тем, тело мертвой виднелось сквозь ткань, легкую, как газ, и под ее нитями смутно блестела местами позолота.

Когда был снят последний покров, обрисовалась чистая нагота прекрасных форм, которые, несмотря на столько протекших веков, сохранили всю округленность своих очертаний и всю тонкую грацию линий. Ее поза, редкая у мумий, была та же, что у Венеры Медицейской, как будто бальзамировщики хотели отнять у этого прекрасного тела печальную позу смерти и смягчить неподвижную суровость трупа. Одна рука слегка закрывала девственную грудь, другая скрывала тайные красоты, как будто целомудрие мертвой не было достаточно защищено охраняющим мраком могилы.

Крик восторга вырвался одновременно у Румфиуса и у лорда Ивендэля при виде этого чуда.

Ни одна еще статуя, греческая или римская, не представляла более изящных очертаний; даже характерные особенности египетского идеала придавали этому чудесно сохраненному телу такую стройность и легкость, какой не имеют античные мраморы. Маленькие, тонкие руки, узкие ступни ног с ногтями на пальцах, блестящими, как агат, тонкий стан, маленькие груди, мало выдающиеся бедра, несколько длинные ноги с изящно очерченными лодыжками — все это напоминало легкую грациозность музыкантш и танцовщиц на фресках, изображающих погребальные пиры в ипогеях Фив. Это была та форма еще детской прелести, не обладающая зрелостью женщины, которую египетское искусство изображает с такой нежностью, начертывая этот образ на стенах подземелий быстрой кистью или терпеливо высекая из непокорного базальта.

Обыкновенно мумии, пропитанные смолой и солью, похожи на изваяния из черного дерева; разложение не может их коснуться, но в них нет подобия жизни. Трупы не обращаются в прах, из которого они созданы, но они окаменевают в отвратительной форме, на которую нельзя взглянуть без омерзения или ужаса. Но на этот раз тело — заботливо обработанное посредством процессов, более верных, более долгих и дорогих, сохранивших в нем эластичность, гладкость эпидермы и почти естественную окраску; кожа светло-коричневого цвета имела бледный оттенок новой флорентийской бронзы; и этот горячий тон амбры, каким мы восхищаемся в картинах Джорджонэ и Тициана, потемневших от лака, вероятно, немногим отличался от естественного цвета кожи юной египтянки при ее жизни.

Голова скорей казалась спящей, чем мертвой; из под век, обрамленных длинными ресницами, между двумя черными чертами антимония блестели эмалевые глаза каким-то влажным жизненным отблеском и, казалось, хотели сбросить с себя, как легкое видение, тридцативековый сон. Нос, тонкий и изящный, сохранил свои чистые линии; никакие впадины не безобразили щек, округленных, как бока вазы; рот, покрытый бледной, красноватой краской, сохранил свои едва заметные складки, и на губах, сладострастно очерченных, бродила грустная и таинственная улыбка, полная нежности, печали и очарования, та нежная и покорная улыбка, которая дает такую очаровательную складку прелестным головкам, украшающим канонские вазы Луврского музея.

Ровное и низкое чело, соответствующее требованиям античной красоты, обрамляли массы черных, как уголь, волос, заплетенных во множество тонких кос, падавших на плечи. Двадцать золотых булавок, воткнутых среди этих кос, точно цветы в бальной прическе, усеивали, как

блестящие звездочки, густую, темную шевелюру, которую можно было бы принять за искусственную, настолько она была обильна. Крупные серьги, округленные наподобие маленьких щитов, блестели своим желтым цветом рядом с смуглыми щеками. Роскошное ожерелье из трех родов золотых божеств и амулетов среди драгоценных камней окружало шею очаровательной мумии, а ниже, на груди, лежали два других ожерелья из бус и розеток — золотых, из лапис-лазури и сердолика в изящном симметрическом сочетании.

Пояс сходного рисунка из золота и самоцветных камней обнимал тонкую талию.

Браслет из двойного ряда золотых и сердоликовых бус окружал кисть левой руки, а на указательном пальце той же руки блестел маленький скарабей из эмали с золотой насечкой на тонких золотых нитях, красиво сплетенных.

Какое странное чувство! Стоять перед лицом человеческого существа, жившего в те времена, когда едва слышался лепет истории, собиравшей сказки преданий, пред лицом красоты, современной Моисею и сохранившей прекрасные формы юности; касаться маленькой, нежной руки, напитанной благовониями, которую, быть может, целовал Фараон, осязать волосы, более долговечные, чем царства, более прочные, чем сооружения из гранита!

При виде мертвой красавицы юный лорд испытывал то уходящее в глубину прошлого желание, какое часто внушает мраморное изваяние или картина, изображающая женщину минувших времен, прославленную своими чарами. Ему казалось, что если бы он жил три тысячи пятьсот лет тому назад, то полюбил бы эту красавицу, которой не коснулось уничтожение, и его мысль, быть может, долетела к встревоженной душе, которая бродила близ ее поруганной земной оболочки.

Гораздо менее поэтичный, чем юный лорд, доктор Румфиус занялся перечислением драгоценностей, не снимая их, потому что Ивендэль пожелал, чтобы не отнимали у мумии ее последнего утешения: снять с умершей женщины ее драгоценности, это значило бы умертвить ее вторично! Как вдруг сверток папируса, скрытый между боком тела и рукой, бросился в глаза ученого.

— А! Это, должно быть, экземпляр погребального ритуала, — сказал он, — его клали в последний гроб, и рукопись писали с большей или меньшей тщательностью, смотря по богатству и значению умершего.

И он принялся с величайшими предосторожностями развертывать хрупкую полосу папируса. При первых же строках Румфиус показался

удивленным. Он не видел обычные фигуры и знаки ритуала; тщетно он искал на надлежащем месте рисунки, изображающие похороны, и погребальное шествие, служащее заставкой папируса; он не нашел и молитвенное перечисление ста имен Озириса, ни пропускную формулу, даваемую душе, ни воззвание к богам Аменти. Рисунки иного характера говорили о совсем других сценах, о человеческой жизни, а не о странствованиях тени в загробном мире. Заголовки глав и начало строк были начерчены красной краской, чтоб отделить их от остального текста, написанного черным, и привлечь внимание читателя к наиболее интересным местам рукописи. Надпись в ее начале, казалось, заключала в себе заглавие сочинения и имя грамматика, написавшего или скопировавшего его. По крайней мере, так определил, по первому взгляду, ученый доктор.

— Решительно, милорд, мы ограбили господина Аргиропулоса, — сказал он Ивендэлю, указывая ему на все особенности рукописи по сравнению с обычными ритуалами. — Впервые найден египетский манускрипт, заключавший в себе нечто иное, чем священные формулы. О, я его прочту, хотя бы потерял зрение, хотя бы моя борода отросла настолько, чтобы в три раза обойти вокруг моего стола! Да, я вырву у тебя твою тайну, загадочный Египет! Я узнаю твою историю, мертвая красавица, потому что в папирусе, прижатом к сердцу твоей очаровательной рукой, заключается твое жизнеописание! Я покрою себя славой и заставлю Ленсиуса умереть от зависти!

……

Ученый и доктор вернулись в Европу; мумия, покрытая снова своими холстами и положенная в три гроба, обитает в парке лорда Ивендэля в Линкольншире, в базальтовом саркофаге, который он перевез с большими расходами из долины Бибан-эль-Молюк и не отдал Британскому музею. Иногда лорд, облокотись о саркофаг, погружается в глубокую думу и вздыхает…

После трехлетних настойчивых трудов Румфиусу удалось разобрать таинственный папирус, исключая нескольких мест, поврежденных или написанных неизвестными знаками, и содержание этой рукописи, переведенной им на латинский язык, вы прочтете под названием: *Роман Мумии.*

КОНЕЦ ПРОЛОГА

I

Оф (таково египетское имя города, который античная древность называла стовратными Фивами или Diospolis Magna), казалось, спал под палящими лучами раскаленного как свинец солнца. Был полдень; яркий свет падал с бледного неба на землю, истомленную жарой; почва, блистающая отражением лучей, светилась как расплавленный металл, и тень у подошвы зданий казалась лишь тонкой голубоватой нитью, похожей на черту, которую зодчий проводит краской на своем плане на папирусе; дома, со слегка расширяющимися к основанию стенами, пылали как кирпичи в горне; двери были заперты, и ни одна голова не появлялась в окнах, закрытых шторами из тростника.

В глубине пустынных улиц, над террасами, вырезались в воздухе, необычайно прозрачном, иглы обелисков, верхи пилонов, группы дворцов и храмов, капители их колонн, с человеческими лицами или цветами лотоса, виднелись вполовину, пересекая горизонтальные линии крыш и возвышаясь как рифы над массами частных жилищ.

Местами, из-за стены сада поднимался чешуйчатый ствол пальмы с пучком листьев, застывших в воздухе, потому что ни малейшее движение не нарушало тишину атмосферы; акации, мимозы, фараоновы смоковницы раскинули каскады своей листвы, бросая узкую голубоватую тень на ослепительно яркую почву. Эти массы зелени оживляли безжизненную торжественность картины, которая без них казалась бы картиной мертвого города.

Изредка черные невольники из племени Нахаси, с обезьяньим обликом, с звериными ухватками, одни лишь не обращая внимания на полуденный жар, несли для своих господ воду из Нила в кувшинах, подвешенных на палке, перекинутой через плечо. Хотя вся их одежда состояла из коротких полосатых штанов, но их торсы, блестящие и гладкие, как базальт, обливались потом, и они ускоряли шаги, чтоб не обжечь толстую кожу ступни о раскаленные, точно пол в бане, плиты. На дне лодок, привязанных у кирпичной набережной реки, спали матросы, уверенные, что никто не разбудит их, чтобы переправиться на другой берег в квартал Мемнониа. В небесной высоте вились ястребы, и их пронзительный писк, который в другое время потерялся бы в городском шуме, звучал теперь среди всеобщего безмолвия. На карнизах зданий, поджав одну ногу и уткнувшись клювом в мохнатую шею, два-три ибиса

казались погруженными в глубокую думу; а их силуэты рисовались на лазурном фоне, сверкающем и раскаленном.

Но не все, однако, спало в Фивах. Неясные звуки музыки неслись из стен большого дворца, простирающего на фоне пламенного неба прямую линию своего украшенного резными пальмовыми листьями карниза. Время от времени эти струи гармонии растекались в чистом трепетании воздуха и, казалось, глаз мог бы проследить, как льются волны созвучий.

Странное очарование таила в себе эта музыка, как под сурдиной доносившаяся из-за тяжелых стен: то была песнь печального сладострастья, томной тоски, в ней слышалось томление тела и разочарование страсти; угадывалась сияющая грусть вечной лазури, неописуемая истома жарких стран.

Проходя мимо этой стены, раб замедлял шаги, забывая о плети хозяина, останавливался, напряженно ловил звуки песни, дышавшей сокровенными печалями души, и грезил об утраченной родине, о погибшей любви, о непреодолимых преградах рока.

Откуда неслась эта песнь, эти тихие вздохи среди молчания города? Чья тревожная душа бодрствовала среди окружающего сна?..

Фасад дворца, выходивший на довольно обширную площадь, отличался правильностью линий и тяжестью кладки, свойственными гражданской и религиозной архитектуре Египта. Очевидно, это было жилище семьи царской крови или семьи жреца; об этом свидетельствовало и качество материалов, и тщательность постройки, и богатство украшений.

В средине фасада возвышался большой павильон, окруженный с боков двумя приделами и увенчанный крышей в виде срезанного треугольника. Широкая полоса резьбы, глубокой и с сильно выступающим профилем, окаймляла стену, в которой не было других отверстий, кроме двери; она была расположена без симметрии, не посредине, а в углу павильона, для того чтоб дать простор широким ступеням внутренней лестницы. Карниз того же стиля, что и крыша, венчал этот единственный вход.

Павильон выступал перед стеной, к которой примыкали два ряда галерей в виде открытых портиков, с колоннами своеобразной фантастической формы. Основания их изображали громадные бутоны лотоса; острые листья обрамляли сердцевину, из которой, словно гигантский пестик цветка, поднимался ствол, суживающийся кверху у капители, схваченной резным ожерельем и увенчанной распустившимся цветком.

Небольшие, двухстворчатые окна, украшенные цветными стеклами, виднелись в широких просветах между колонн. Крыша в виде террасы

была вымощена громадными каменными плитами. В наружных галереях, на деревянных треножниках стояли глиняные сосуды, натертые внутри горьким миндалем и закупоренные листьями; в них воздушной струей охлаждалась нильская вода. Груды плодов, связки цветов, различной формы сосуды для питья помещались на круглых столиках: египтяне любят есть на свежем воздухе, и их трапезы происходят, так сказать, на улице.

С каждой стороны преддверия дома тянулись одноэтажные постройки, обнесенные рядами колонн, с которыми до половины их высоты соединялась стена, разделенная на грани и предназначенная для того, чтобы замкнуть внутри дома место для прогулки, защищенное от солнца и от взглядов. Капители, стволы колонн, грани стен были расписаны красками, и все эти сооружения производили впечатление радостное и пышное.

Входная дверь вела в обширный двор, обнесенный четырехугольным портиком. Он состоял из колонн с капителями в виде голов женщин с коровьими ушами, с продолговатыми, вздернутыми кверху глазами, с приплюснутыми носами и широко расплывшейся улыбкой, с прической в виде толстого, рубчатого венчика, поддерживающего камень тяжелого песчаника. Под этим портиком были расположены двери комнат, куда проникал свет, смягченный тенью галереи.

Посреди двора выложенный сиенским гранитом бассейн искрился под солнцем; над водой раскинулись широкие серцевидные листья лотоса, и розовые и голубые цветы их наполовину свернулись, точно изнемогая от жары, несмотря на омывающую их воду.

Вокруг бассейна в грядах росли цветы, рассаженные веером на маленьких холмиках, а по узким дорожкам, проложенным среди растительности, осторожно прогуливались два ручных аиста. Временами они щелкали своими длинными клювами и хлопали крыльями, словно собираясь улететь.

По углам двора четыре высоких персеи с искривленными стволами раскинулись своей пышной зеленью металлического оттенка.

В глубине колоннаду портика заканчивал пилон, и в голубом воздухе широкого просвета, в конце длинной крытой аллеи из лоз, виднелся киоск, роскошный и изящный.

В отделениях сада, вправо и влево от аллеи, очерченных рядами карликовых подстриженных в виде конуса деревьев, зеленели гранатные деревья, сикоморы, тамариски, мимозы, акации. И на густом фоне поднимающейся выше стен зелени цветы сверкали, как красочные искры.

Тихая и нежная музыка доносилась из комнаты, выходившей во

внутренний портик. Хотя залитые солнечными лучами плиты двора ослепительно сверкали, но комната тонула в голубой живительной прозрачной тени, и здесь глаз, ослепленный пламенным светом, сначала старался всмотреться в формы предметов, прежде чем мог различить их, привыкнув к этому полусвету.

Стены комнаты были окрашены в бледно-лиловый цвет и заканчивались карнизом, расписанным яркими красками и украшенным золотыми пальмовыми листьями. В искусных архитектурных сочетаниях обрисовывались на гладкой поверхности стен квадраты, обрамлявшие живопись, орнаменты, лепестки цветов, фигуры птиц, шашки различных красок, сцены интимной жизни.

В глубине, у стены, стояло ложе причудливой формы, в виде быка, убранного страусовыми перьями, с диском между рогами. Покрытая тонкой красной подушкой его спина расширялась, чтобы дать отдых: дугообразно упирались в пол черные ноги с зелеными копытами, а хвост изгибался двумя прядями. Во всякой другой стране, кроме Египта, показалось бы страшным это ложе в виде четвероногого животного. Но здесь причуда мастера так же просто создавала ложе в образе льва или шакала. Перед ложем была поставлена скамейка с четырьмя ступенями. В изголовье полумесяц из восточного алебастра служил для опоры шеи, чтобы не опасаться привести в беспорядок прическу.

Посреди комнаты, на столе из драгоценного дерева искусной и очаровательной работы, находились различные предметы: вазы с цветами лотоса, бронзовое полированное зеркало на ножках из слоновой кости, агатовый сосуд с черным порошком антимония, ложка для благовоний из сикоморового дерева с ручкой в виде молодой девушки, нагой до пояса, вытянувшейся как бы для плавания и старающейся поддержать свою ножку над водой.

У стола, на кресле из золоченого дерева, расцвеченного красными с голубым ножками и с ручками в виде львов, покрытом толстой подушкой, пурпурной, с золотыми звездами и черными квадратами, конец которой был перекинут через спину, сидела молодая женщина, или, скорее, девушка, дивной красоты, в грациозной позе, небрежной и меланхолической.

Ее черты, идеально нежные, представляли собой образец чистого египетского типа, и, может быть, часто ваятели думали о ней, высекая изображения Изиды и Гаторы, рискуя нарушить суровые правила жрецов; отблески золота и роз окрашивали пламенную бледность ее лица, на котором обрисовывались продолговатые черные глаза, увеличенные черной

чертой антимония и подернутые невыразимой грустью. Эти большие темные очи с густыми ресницами и окрашенными веками принимали странное выражение на миловидном личике, почти детском. Полуоткрытый рот, алый, как цветок граната, не скрывал между губ, довольно полных, влажный блеск голубоватого перламутра и хранил ту невольную и почти скорбную улыбку, которая придает такую привлекательную прелесть египетским лицам. Нос, слегка сдавленный у бровей, соединенных бархатистой тенью, был обрисован таким безукоризненно правильным вырезом ноздрей, что каждая женщина или каждая богиня была бы удовлетворена, несмотря на едва уловимые африканские черты профиля, подбородок округлялся линией необычайно изящной и имел блеск полированной слоновой кости; щеки несколько более развитые, чем у красавиц других народов, прибавляли лицу выражение чрезвычайной нежности.

Головной убор этой девушки состоял из подобия каски в виде цесарки; ее полураскрытые крылья опускались на виски, красивая тонкая головка выдавалась над срединой лба, а хвост, усеянный белыми точками, опускался, развернутый, на затылок. Удачное сочетание эмалей подражало пестрому оперенью птицы; страусовые перья в виде султана дополняли этот головной убор, составляющий принадлежность молодых девушек, тогда как ястреб, символ материнства, предназначается только для женщин.

Волосы юной девы, блестящие и черные, заплетенные в тонкие косы, пышно лежали вдоль ее круглых щек, обрисовывая их очертания, и опускались до плеч; в тени их сияли, как два солнца в облаках, большие золотые круги серег, от головного убора спускались две длинных полосы из ткани с бахромой на концах и красиво падали за спиной. Широкий нагрудник из многих рядов эмалей, золотых бус, зерен сердолика, ящериц и рыб из тисненого золота покрывал ее торс от горла до грудей, которые просвечивали, белые и розоватые, сквозь воздушную сетку калазириса. Платье с крутыми квадратами было завязано ниже груди поясом с висячими концами и заканчивалось внизу широкой каймой с поперечными полосами, украшенными бахромой. Тройные браслеты из бус лапис-лазури, перемежающихся с рядами золотых зерен, облегали тонкие кисти ее рук, нежных, как у ребенка, а узкие ступни ног, с тонкими пальцами, обутые в башмаки из белой кожи, испещренной золотыми рисунками, покоились на скамейке из недорогого дерева с инкрустациями из зеленой и красной эмали.

Возле Тахосер (имя юной египтянки) находилась арфистка, склонив одно колено и согнув другую ногу под тупым углом в позе, которую

живописцы любят изображать на стенах ипогеев; и арфистка, и ее инструмент помещались на подставке, имевшей целью усиливать его звук. Кусок ткани с цветными полосами и откинутыми назад концами в складках покрывал ее волосы и обрамлял лицо, улыбающееся и загадочное, как лик сфинкса. Узкая одежда или, вернее, чехол из прозрачной материи обтягивал ее юное и тонкое тело; эта одежда, разрезанная под грудью, оставляла свободными плечи, грудь и руки в их чистой наготе.

На подставке была укреплена стойка с поперечной перекладиной в форме ключа, служившая точкой опоры для арфы, которая без этого лежала бы всей тяжестью на плече молодой женщины. Арфа, заканчивавшаяся декой, округленной в виде раковины и раскрашенной орнаментами, имела на своей верхней части изваянную голову богини Гатор со страусовым пером; девять струн, натянутых по диагонали, вздрагивали под длинными и тонкими пальцами арфистки, которая часто, чтоб извлечь низкие ноты, наклонялась красивым движением, как будто желая плавать в звонких волнах музыки и следовать за удаляющейся гармонией.

Позади нее стояла другая музыкантша, которую можно было бы принять за нагую, если бы ее не одевал легкий туман белого газа, оттенявший бронзовый цвет ее тела; она играла на инструменте, напоминающем большую мандолину с чрезвычайно длинной шейкой и с тремя струнами, украшенными на концах цветными кистями. Одна из ее рук, тонких и вместе с тем округленных, протянулась к грифу инструмента в скульптурной позе, а другая поддерживала его, перебирая струны.

Третья молодая женщина, которая благодаря громадной шевелюре казалась еще тоньше, отбивала такт на тимпане, состоявшем из деревянной рамки с натянутой на нее ослиной кожей.

Арфистка пела жалобную мелодию, сопровождаемую в унисон, проникнутую невыразимой нежностью и глубокой тоской. Слова выражали смутные желания, сокрытые сожаления, гимн любви к неизвестному и робкие жалобы на суровость богов и жестокость рока.

Тахосер, опершись на одного из львов кресла, приложив руку к щеке и протянув палец к виску, слушала пение с рассеянностью, более кажущейся, чем действительной, по временам вздох волновал ее грудь и вздымал эмали ее нагрудника; по временам влажный блеск, вызванный зарождающейся слезой, озарял ее глаза среди черных линий антимония, и ее маленькие зубки кусали нижнюю губу, как будто она была виновна в ее волнении.

— Сату! — сказала она, ударяя одной о другую своими нежными руками, чтобы заставить умолкнуть арфистку, которая тотчас же заглушила ладонью вибрации струн. — Сату, твое пение меня волнует, томит и кружит

голову, как слишком сильное благоухание. Струны твоей арфы как будто связаны с моим сердцем и звучат мучительно в моей груди; мне почти стыдно, потому что моя душа плачет сквозь музыку. А кто мог бы открыть тебе тайны?

— Госпожа! — ответила арфистка. — Поэт и музыкант знают все; боги открывают им сокрытое в тайне; в своих ритмах они выражают то, что мысль едва сознает и что язык едва лепечет. Но если моя песня тебя печалит, то я могу изменить напев.

И Сату ударила по струнам арфы с радостной энергией и в быстром ритме, который подчеркивался учащенными ударами тимпана; после этого вступления она запела песнь, прославляющую чары вина, опьянения благовониями и восторг пляски.

Некоторые из женщин, сидевших на складных стульях с голубыми лебедиными шеями и желтыми клювами, кусающими палку сиденья, или же коленопреклоненные на красных подушках, набитых волосом, принявшие под впечатлением музыки Сату позы безнадежного томления, затрепетали, расширили ноздри, как бы вдыхая в себя волшебный ритм, поднялись на ноги и, повинуясь неодолимому влиянию, начали плясать.

Головной убор в виде каски, вырезанной против уха, покрывал их волосы, из которых некоторые завитки падали на их смуглые щеки, скоро порозовевшие от увлечения пляской. Широкие золотые кольца серег бились о их шеи, и сквозь длинные газовые ткани виднелись их тела цвета светлой бронзы, волнующиеся с гибкостью змеек; они извивались, изгибались, двигали станом, схваченным узким поясом, откидывались назад, принимали томные позы, склоняли головы вправо и влево, как бы находя скрытое сладострастие в прикосновении их гладкого подбородка к холодному, обнаженному плечу, выдвигали вперед горло, точно голубки, опускались на колена и поднимались снова, прижимали руки к груди или раскидывали их наподобие крыльев Изиды и Нефеис, влачили ноги или передвигали их частыми движениями сообразно с переливами музыки.

Служанки, стоя у стен, чтобы дать простор движениям танцовщиц, отмечали такт, щелкая пальцами или ударяя ими о ладони. Одни из этих женщин, совсем нагие, имели единственным украшением браслет из эмалированной глины, другие были одеты в узкие юбки, поддерживаемые помочами, и в их волосах были вложены цветы на согнутых стеблях, необычно и изящно. Бутоны и распустившиеся цветы, покачиваясь, распространяли благоухание в зале, и женщины, увенчанные цветами, могли бы внушить поэту счастливые темы для сравнений.

Но Сату преувеличивала могущество своего искусства. Веселый ритм

музыки, казалось, усилил печаль Тахосер. Слеза катилась по ее прекрасной щеке, как капля нильской воды на лепестке лотоса, и, спрятав голову на груди своей любимой служанки, облокотившейся о ее кресло, она промолвила, рыдая и стеная, как задыхающаяся голубица:

— Ах, моя бедная Нофрэ, я очень печальна и очень несчастлива!

II

Нофрэ, предчувствуя признание, сделала знак; арфистка, две музыкантши, танцовщицы и служанки удалились молча, одна за другой, как вереница фигур на фресках. Когда последняя из них исчезла, любимая прислужница стала говорить своей госпоже ласковым и сочувствующим тоном, точно молодая мать, утешающая своего питомца:

— Что с тобой приключилось, дорогая госпожа, что ты печальна и несчастлива? Ты молода, твоей красоте могут позавидовать прекраснейшие женщины, ты свободна и отец твой, великий жрец Петамуноф, чья мумия, сокрытая от всех, покоится в богатой гробнице, оставил тебе великие богатства, которыми ты можешь распоряжаться по желанию. Твой дворец очень красив, обширны твои сады, орошаемые прозрачными водами. В твоих сундуках хранятся ожерелья, нагрудники, браслеты для ног, кольца с искусной резьбой на камнях. Число твоих одежд, твоих калазирисов, твоих головных уборов превосходит число дней в году; Гопи-Му, отец вод, покрывает в свое время плодотворным илом твои земли, которых не облетит ястреб в течение времени от одного солнца до другого. А твое сердце не раскрывается радостно для жизни подобно бутону лотоса в месяцы Гатор или Шойак, а болезненно сжимается.

Тахосер ответила Нофрэ:

— Да, конечно, боги высших сфер были ко мне милостивы; но какую для меня имеет цену все, чем обладаешь, если нет единого, чего желаешь? Неудовлетворенное желание делает богача в его позолоченном и расписанном красками дворце, среди его драгоценностей и ароматов более бедным, чем самый жалкий работник в Мемнониа, собирающий в древесные опилки кровь из трупов, или чем полунагой негр, управляющий на Ниле своей хрупкой лодкой под горячим полуденным солнцем.

Нофрэ улыбнулась и сказала с едва уловимой усмешкой:

— Возможно ли, госпожа, чтобы какая-нибудь твоя прихоть не исполнилась немедленно? Если ты желаешь иметь драгоценность, то отдаешь мастеру слиток чистого золота, сердолики, синие камни, агаты, красные камни, и он выполняет работу по желаемому рисунку. Так же точно и с одеждами, с колесницами, благовониями, цветами и музыкальными инструментами. Твои рабы, от Филэ до Гелиополиса, ищут для тебя всего самого красивого, самого драгоценного; если нет в Египте того, что ты желаешь, то караваны доставят это тебе с другого конца мира!

Прекрасная Тахосер покачала головой и, казалось, была раздражена недогадливостью своей доверенной.

— Прости, госпожа, — сказала Нофрэ, поняв, что сделала ошибку, — я и не подумала о том, что скоро четыре месяца, как Фараон ушел в поход в верхнюю Эфиопию и что его сопровождает красивый оэрис[2], который, проходя мимо твоей террасы, всегда поднимал вверх голову и замедлял шаг. Как он был привлекателен в своем воинском одеянии! Как он красив, молод и храбр!

Как будто желая заговорить, Тахосер полуоткрыла свои розовые губы; но легкое алое облако покрыло ее щеки, она склонила голову, и слова, готовые слететь с ее губ, не развернули свои звонкие крылья.

Служанка, думая, что угадала, заговорила снова:

— В таком случае, госпожа, твоя печаль скоро прекратится; в это утро прибыл вестник, задыхаясь от усталости, и возвестил победоносное возвращение царя еще перед заходом солнца. Слышишь, как тысячи шумов смутно раздаются в городе, пробуждающемся от полуденного усыпления? Прислушайся! Колеса звучат на плитах улиц; и народ толпами стремится к реке, чтоб перебраться на другой берег, на поле воинских упражнений. Сбрось с себя свою тоску и отправься также взглянуть на чудное зрелище. В часы печали надо смешиваться с толпой. Уединение питает мрачные мысли. С высоты боевой колесницы Ахмосис пошлет тебе приветливую улыбку, и ты вернешься более веселой в твой дворец.

— Ахмосис меня любит, — ответила Тахосер, — но я не люблю его.

— Это речь юной девы, — возразила Нофрэ, которой нравился юный вождь и которая считала притворством пренебрежительное равнодушие Тахосер.

Ахмосис был действительно прекрасен; его профиль напоминал изображения богов, вырезанные самыми искусными ваятелями; нос с легкой горбиной, черные блестящие глаза, увеличенные чертой антимония, щеки ровных очертаний с нежной кожей, напоминающей восточный алебастр; красиво обрисованные губы, изящный стройный стан с широкими плечами, узкими бедрами и сильными руками, в которых не выделялся резко ни один мускул, — все в нем могло бы обольстить самых разборчивых красавиц; но Тахосер не любила его, хотя Нофрэ думала иначе.

Другая мысль, которую она не высказала, потому что не считала Нофрэ способной ее понять, вывела молодую девушку из ее кажущегося равнодушия: она встала с кресла с неожиданной быстротой, которой трудно было бы от нее ждать при ее подавленном состоянии во время пенья и

плясок. Нофрэ, коленопреклоненная у ее ног, надела ей нечто вроде коньков с загнутыми носками, осыпала благовонным порошком ее волосы, вынула из ящика несколько браслетов в виде змей, несколько колец со священными скарабеями, положила на щеки немного зеленой пудры, порозовевшей от прикосновения к коже, отполировала ей ногти, оправила смятые слегка складки ее калазириса, как подобает усердной служанке, желающей показать свою госпожу во всей ее красе; потом призвала трех слуг, которым приказала приготовить барку и переправить на другой берег реки колесницу с ее запряжкой.

Дворец, или же, сказать проще, дом Тахосер, стоял близко к берегу Нила, от которого отделялся садами. Дочь Петамунофа, опираясь рукой о плечо Нофрэ, в предшествии слуг, прошла под навесом из виноградной листвы, которая, защищая от солнца, бросала тени и светлые пятна на ее красивое лицо. Скоро она пришла к широкой кирпичной набережной, по которой двигалась, подобно муравейнику, толпа людей, ожидавших прихода и отхода барок.

Оф, колоссальный город, оставил в своих стенах только больных, увечных, стариков, неспособных к передвижению, и рабов, охраняющих дома; по улицам, площадям, проездам, по аллеям сфинксов, пилонам, набережным текли потоки людей по направлению к Нилу. Самым странным разнообразием отличалась эта толпа, в которой главную массу составляли египтяне с их тонким профилем, гибким и стройным станом, в тонкой льняной одежде или в калазирисе с тщательно сложенными складками; у некоторых голова была покрыта тканью с голубыми или зелеными полосами, а бедра были обтянуты узкими штанами, открывавшими выше пояса нагой торс цвета обожженной глины.

На фоне этой массы туземцев обрисовывались представители различных чуждых рас: негры с верховьев Нила, черные, как базальтовые боги, с широкими браслетами из слоновой кости на руках и качающимися дикими украшениями в ушах; бронзового цвета эфиопы с свирепыми лицами, невольно смущенные среди этой цивилизации, точно звери в ярком дневном свете; азиаты с бледно-желтым цветом кожи, голубоглазые, с завитой, в виде спиралей, бородой, в тиаре, подвязанной перевязью, закутанные в одежду с бахромой, испещренную вышивками; пелазги, одетые в звериные кожи, сцепленные на плече, со странной татуировкой на обнаженных руках и ногах и с перьями птиц на голове, с которой спускались две косы волос.

Среди этой толпы важно шли жрецы с бритыми головами, в облегающей тело шкуре пантеры, причем морда животных образовывала

как бы пряжку пояса, в сандалиях из библоса, с высокой тростью из дерева акации, испещренной иероглифами; воины с кинжалом, украшенным серебряными гвоздями у пояса, со щитом за спиной и бронзовым топором в руке; важные особы в почетных нагрудниках, перед которыми низко склонялись невольники, касаясь земли рукой. Пробираясь вдоль стен, со смиренным и печальным видом брели полунагие бедные женщины, сгибаясь под тяжестью своих детей, подвешенных у их шеи на клочках ткани или на прядях циновок; а красивые девушки, в сопровождении трех или четырех служанок, гордо шли в своих прозрачных одеждах, стянутых под грудью поясами с развевающимися концами, в блеске эмалей, жемчугов и золота и в аромате цветов и благовоний.

Среди пешеходов эфиопы быстрым и равномерным шагом несли носилки; мчались легкие колесницы, с горячими конями с пучками перьев на голове; в повозках, запряженных быками, тяжелым шагом ехали целые семьи. Люди в толпе, не опасаясь быть раздавленными, едва расступались, чтоб дать дорогу, и часто возницы ударяли бичом запоздавших или упорно не желавших дать дорогу.

Необычайное движение было на реке; несмотря на ее ширину, она была на всем протяжении города сплошь покрыта всевозможными судами, начиная с барок с высоко поднятой кормой и носом, с расписанным красками и позолоченным навесом, и кончая тонкой ладьей из папируса; даже не пренебрегли плотами, служащими для перевозки скота и плодов.

Не так то легко было переправить с одного берега реки на другой более чем миллионное население города, и тут требовалась вся ловкость фивских матросов.

Воды Нила под ударами весел, рассекаемые носами и рулями лодок, пенились, точно море, и образовывали тысячи водоворотов, прерывавших сильное течение реки.

Строение барок было столь же разнообразно, как и живописно: одни из них заканчивались на обоих концах большими цветками лотоса, склоненными внутрь и стянутыми у основания перевязью; другие имели раздвоенную корму и заостренную носовую часть, иные округлялись в форме полумесяца; на палубе некоторых судов возвышались подобия замков или платформ, где стояли кормчие; иные маленькие лодки состояли из трех полос древесной коры, связанных веревками, и управлялись маленьким веслом. Суда, предназначенные для перевозки животных, шли рядом, борт к борту и на них был настлан помост с перекидным мостиком, облегчавшим нагрузку и выгрузку; их было много. Встревоженные кони ржали и били о доски звонкими копытами; быки беспокойно поворачивали

в сторону берега свои лоснящиеся головы с повисшей нитями слюной и успокаивались ласками погонщиков.

Боцманы отмечали ритм гребцам, ударяя в ладони; кормчие, усевшись на корме или прохаживаясь под навесом, выкрикивали команду, давая указания, как пробираться в движущемся лабиринте судов. Иногда, несмотря на предосторожности, лодки сталкивались, и матросы обменивались ругательствами или ударяли друг друга веслами.

Эти тысячи судов, окрашенных большей частью в белый цвет, расписанных зеленым, голубым и красным и переполненных мужчинами и женщинами в многоцветных одеждах, совершенно скрывали от глаз воды Нила на большом протяжении, представляя под горячим солнцем Египта ослепительную движущуюся картину; взволнованная в разных направлениях вода пенилась, сверкала, светилась, как ртуть, и была похожа на солнце, раздробленное на миллионы частей.

Тахосер вошла в свою барку, убранную чрезвычайно роскошно, в центре которой была каюта, *наос*, с рядом *уреусов* по карнизу, со столбами на углах и со стенами, расписанными симметричными рисунками. На корме был навес, а с противоположного конца барки жертвенник, украшенный живописью. Руль состоял из двух весел, увенчанных головами богинь Гатор с перевязью из ткани вокруг шеи. У мачты трепетал на ветру, поднявшемуся с востока, продолговатый парус из богатой ткани, вышитой и расписанной зигзагами, полосами, квадратами, фигурами птиц и фантастических животных в ярких красках; а по нижнему краю висела бахрома из толстых кистей.

Канат отвязан, парус повернули по ветру, и барка отошла от берега, разделяя своим носом толпу лодок, весла которых взмахивали и двигались точно лапки жуков, опрокинутых на спину; барка плыла беспечно среди целого хора криков и ругательств; ее сила позволяла ей не обращать внимания на столкновения, которые могли бы потопить более легкие ладьи. К тому же матросы Тахосер были очень ловки и управляемая ими барка казалась одаренной разумом, настолько она легко подчинялась рулю и своевременно избегала серьезных препятствий. Скоро она оставила за собой нагруженные тяжело ладьи, наполненные внутри и на крыше в три, четыре ряда мужчинами и женщинами, и детьми, сидевшими в излюбленной египетским народом позе. Все они, коленопреклоненные, казались бы похожими на судей, соприсутствующих Озирису, но их лица выражали не ту глубокую сосредоточенность, которая пристойна посмертным судьям, а самую искреннюю веселость. Действительно, Фараон возвращался победителем с безмерной добычей. Фивы радовались,

и все их население спешило навстречу любимцу бога Аммон-Ра, властителю венцов, правителю чистой области, всемогущему Ароэрису, царю-солнцу и исчислителю народов!

Скоро барка Тахосер достигла противоположного берега. Почти одновременно причалила другая барка, перевозившая колесницу; быки перешли по перекинутому мостку, и их быстро запрягли под ярмо проворные слуги, переправившиеся на берег вместе с ними.

На головах быков, белых с черными пятнами, были надеты тиары, отчасти закрывавшие ярмо у дышла, и привязанные к шее кожаными ремнями. Их высокие загривки, широкие подгрудки, сухие и нервные поджилки, маленькие и блестящие, как агат, копыта, хвосты с тщательно расчесанной кистью, все говорило об их породистости и о том, что никакие полевые работы их не уродовали. В них было величественное спокойствие Аписа, священного быка, когда он принимает поклонения и приношения. В колеснице, необычайно легкой, могли поместиться двое или трое стоя; ее кузов, полукруглый, украшенный позолотой и рисунками в изящных изгибах, имел на себе диагональную подпорку, за которую можно было держаться рукой, когда дорога становилась неровной или при более скором движении колесницы; на оси, помещаемой позади кузова, чтобы смягчать тряску, помещались два колеса о шести спицах. На вершине древка в глубине колесницы раскинулся зонтик, изображающий пальмовые листья.

Нофрэ, склонясь к борту колесницы, держала вожжи быков, запряженных наподобие коней, и правила по египетскому обычаю, а рядом с ней Тахосер, неподвижная, опиралась рукой, сияющей на всех пальцах кольцами, о позолоченный край раковины колесницы.

Две юных девушки, одна сверкающая эмалями и драгоценными камнями, другая, едва окутанная прозрачной туникой, составляли очаровательную группу на ярко расписанной колеснице. Человек десять слуг, одетых в полосатые куртки с собранными спереди складками, сопровождали их, соразмеряя свой шаг с ходом быков.

На этом берегу реки было не меньшее стечение народа. Обитатели квартала Мемнониа и окружных сел тоже собирались сюда, и каждую минуту барки, причаливая к кирпичной набережной, доставляли новых и новых любопытных, которые все более сгущали толпу. Бесчисленные колесницы направлялись к военному полю, и их колеса сверкали, точно солнца, в золотистой пыли, поднятой ими. В этот час Фивы опустели, как будто завоеватель увел в плен все население.

Рама, обрамлявшая картину, была достойна ее. Среди зеленеющих обработанных полей, над которыми высоко поднимались пальмы,

обрисовывались ярко расписанные загородные дома, дворцы, летние павильоны, окруженные сикоморами и мимозами. Бассейны сверкали, как зеркало на солнце, виноградные лозы оплетали своды деревянных решеток; в глубине рисовался гигантский силуэт дворца Рамзеса Мейамуна, с необъятными пилонами, гигантскими стенами, с золотыми и раскрашенными мачтами, на которых развевались по ветру флаги. Далее, к северу два колосса, царящих в позе вечного бесстрастия, — гранитные глыбы в человеческой форме, — очертились голубоватыми фигурами, отчасти закрывая более далекий Рамессейум и уединенную гробницу великого жреца; но один из углов дворца Менефты все же виднелся вдали.

Ближе к цепи Ливийских гор, над кварталом Мемнониа, обитаемом каихитами, парасхистами и тарихевтами, поднимался в голубом воздухе рыжеватый дым печей; потому что работы смерти не прерываются никогда, и хотя жизнь шумно разливается вокруг, но гробовые пелены ткутся, картонажи лепятся, гробы покрываются иероглифами, и чей-нибудь холодный труп, распростертый на ложе с ножками наподобие лап льва или шакала, ждет своего вечного одеяния.

На горизонте, кажущиеся близкими благодаря прозрачности воздуха, Ливийские горы вырезались на ясном небе зубчатыми извилинами своих известковых масс, изрезанных ипогеями и сирингами.

Противоположный берег представлял не менее очаровательный вид. Солнечные лучи окрашивали в розовый цвет на сизом фоне аравийских гор громаду Северного дворца, гранитные глыбы и лес гигантских колонн которого возвышались над жилищами с плоскими кровлями.

С обширной эспланады перед дворцом по ее сторонам вели к реке две лестницы. Посередине аллея из сфинксов с бараньими головам, перпендикулярная к Нилу, замыкалась необъятным пилоном с двумя колоссальными статуями и двумя обелисками, и их пирамидальные вершины высоко над карнизами дворца вырезались своим розоватым цветом на ровной лазури неба.

В отдалении, над оградой дворца виден был боковой фасад храма Аммона, вправо возвышались храм Хонса и храм Офта; гигантский пилон, видный с боку, и два обелиска в шестьдесят локтей высоты обозначали начало изумительной аллеи из двух тысяч сфинксов с телами львов и головами баранов, ведущей из Северного дворца к Южному дворцу; на пьедесталах виднелись гигантские крупы первого ряда этих чудовищ, обращенных спиной к Нилу.

Далее, в розоватом свете, неясно рисовались карнизы зданий с распростертыми крыльями по сторонам мистического круга, головы

колоссов с бесстрастными лицами, углы громадных зданий, гранитные глыбы, ряды террас, букеты пальм среди каменных громад и, наконец, Южный дворец с расписными стенами, флагами на мачтах, расширяющимися к низу воротами, обелисками со стадами сфинксов.

И насколько мог окинуть взор, город Оф являл свои дворцы, коллегии жрецов и дома; бледные голубоватые линии означали в отдалении зубы городских стен и вершины ворот.

Тахосер рассеянно смотрела на эти знакомые ей картины, и в ее глазах не было восторга; но, проезжая мимо одного дома, почти скрытого пышной растительностью, она как будто вышла из своей апатии, и взгляд ее, казалось, искал на террасе и на верхней галерее чье-то знакомое лицо.

Красивый юноша, небрежно опершись об одну из колонок павильона, казалось, смотрел на толпу; но взор его темных глаз, перед которыми как будто развертывалось сновидение, не остановился на той колеснице, которая увозила Тахосер и Нофрэ.

Маленькая ручка дочери Петамунофа нервно схватилась за ограду колесницы. Щеки ее побледнели под легким слоем румян, которыми их покрыла Нофрэ; и как будто теряя силы, Тахосер несколько раз вдохнула в себя аромат букета лотосов.

III

Несмотря на свою обычную наблюдательность, Нофрэ не заметила, какое впечатление произвело на ее госпожу невнимание незнакомца. Она не заметила ни бледность, сменившуюся яркой краской в лице, ни блеска ее глаз, не слышала легкий звон эмалей и бус ее ожерелий, взволнованных содроганием ее груди. Все внимание служанки было занято управлением колесницей, что было не легко среди толпы любопытных, стекавшихся ради торжественного въезда Фараона.

Наконец колесница достигла военного поля — обширной, огороженной площади, заботливо устроенной ради воинского блеска. Террасы, сооруженные в течение многих лет руками тридцати племен, обращенных в рабство, составляли ограждение гигантского прямоугольника; стены из необожженных кирпичей, расширявшиеся книзу, покрывали эти земляные террасы; а на их гребнях разместились во много рядов сотни тысяч египтян, белые или ярко-пестрые одежды которых горели на солнце в постоянном движении, свойственном толпе, даже когда она кажется неподвижной. За этими рядами зрителей, многочисленные колесницы, повозки, носилки, охраняемые возницами и рабами, напоминали переселение целого народа: Фивы, одно из чудес древнего мира, заключали в себе больше жителей, чем иные царства.

Ровный и тонкий песок обширной арены, окруженной тысячами голов, сверкал блестящими точками под лучами яркого света, падавшего с неба, голубого, как эмаль статуэток Озириса.

На южной стороне военного поля ограда прерывалась, и тут начиналась дорога, ведущая к верхней Эфиопии вдоль ливийской цепи гор. С другой стороны разрез в террасе открывал среди массивных кирпичных стен дорогу к дворцу Рамзеса Мейамуна.

Дочь Петамунофа и Нофрэ, которым слуги очистили место, поместились в этом углу на вершине ограды таким образом, что могли видеть шествие всей процессии у своих ног.

Громадный шум, глухой, глубокий и мощный, подобно шуму приближающегося моря, послышался в отдалении и покрыл тысячи голосов толпы; так рев льва заставляет умолкнуть мяуканье стада шакалов. Скоро звук инструментов выделился среди грома воинских колесниц и равномерного шага пехотинцев. Какой-то рыжеватый туман, схожий с тем, какой поднимает ветер пустыни, покрыл небо в этой стороне, хотя ветер

стих; в воздухе не было никакого движения, самые нежные пальмы оставались неподвижными, точно вырезанные на гранитных капителях, ни один волос не вздрагивал на висках женщин, и полосатые ленты их головных уборов лежали ровно за плечами. Туман пыли был поднят движением войска и плавал над ним точно рыжеватое облако.

Шум усиливался; вихри пыли расступились, и первые ряды музыкантов вступили на обширную арену, к великой радости толпы, которая, несмотря на уважение к величию Фараона, уже начинала томиться ожиданием под лучами солнца, которое может разрушить всякий череп, кроме египетского.

Первые ряды музыкантов остановились на несколько минут; коллегии жрецов, депутации от жителей Фив прошли через арену навстречу Фараону и выстроились по обе стороны в позах глубочайшего почтения, открыв свободный проход шествию.

Музыка, которая могла бы сама по себе образовать маленькую армию, состояла из барабанов тамбуринов, труб и систрумов.

Прошел первый взвод, играя громогласную победную фанфару на коротких медных трубах, блестящих, как золото. Каждый из этих музыкантов нес под рукой другую трубу, как будто инструмент должен был утомиться раньше человека. Одежда этих трубачей состояла из короткой туники, стянутой поясом, широкие концы которого висели спереди; повязка с двумя страусовыми перьями стягивала их густые волосы, и эти перья напоминали усики жука и придавали им странное подобие насекомых.

Барабанщики, одетые в простую повязку в складках у бедер, и обнаженные до пояса, ударяли сикоморовыми палочками по ослиной коже своих инструментов с выпуклыми боками, подвешенных на кожаной перевязи, в ритме, который им указывал, ударяя в ладони, старший барабанщик, часто оборачивавшийся к ним.

Вслед за ними шли играющие на систрумах; они потрясали ими редким и отрывистым движением и через равные промежутки звенели металлическими кольцами на четырех бронзовых перекладинах.

Играющие на тамбуринах несли перед собой свои продолговатые инструменты, висящие на шарфах, перекинутых через шею, и били руками в кожу, натянутую с двух сторон.

Каждый отряд музыки заключал в себе не менее двухсот человек; но буря звуков труб, барабанов, систрумов и тамбуринов, которая могла бы растерзать уши внутри дворца, не казалась ни слишком резкой, ни громовой под обширным сводом неба, на широком просторе, среди гула толпы, во главе разнообразных войск, приближавшихся с шумом великого

потока.

И восьмисот музыкантов не было слишком много для предшествия Фараону, любимому богом Амон-Ра, изображенному в виде базальтовых и гранитных колоссов в шестьдесят локтей вышиной, чье имя написано на вековечных памятниках и чья история изображена в скульптуре и живописи на стенах зала и на пилонах в бесконечных барельефах и фресках; царю, поднимающему за волосы сто покоренных народов и с высоты своего престола вразумляющего племена своим бичом; для живого Солнца, сжигающего ослепленные его блеском глаза; для бога, почти для самой Вечности!

Вслед за музыкой шли пленники-варвары со странными ухватками и животным обликом, чернокожие, с мелко вьющимися волосами, столько же похожие на обезьяну, как и на человека, в одеждах своей страны: в короткой юбке вокруг бедер, поддерживаемой перевязью через плечо с вышитыми разноцветными украшениями.

Изобретательная и причудливая жестокость была применена к связанным пленникам. У одних были связаны локти за спиной, у других — руки над головой в самом неудобном положении; у иных кисти рук заключались в деревянных колодках; у некоторых на шее был железный ошейник или же веревка, связывавшая целую вереницу людей, схватывая узлом шею каждой жертвы. Казалось, завоеватели находили удовольствие в том, чтобы создать самые тягостные положения, связав этих несчастных, которые шли перед своим победителем неловким и покорным шагом, вращая большими глазами и отдаваясь конвульсиям, вызванным болью.

Стражи шли по бокам, размеряя их шаг ударами палок.

Темнокожие женщины, с длинными висячими косами, с детьми, с привязанным к их лбам куском ткани, шли позади, стыдливо согнувшись, открывая свою тощую и безобразную наготу: жалкое стадо, предназначенное для самых низких обязанностей.

Другие же, молодые и красивые, с более светлой кожей, с браслетами на руках и большими металлическими кругами в ушах, кутались в длинные туники с широкими рукавами и вышивками у ворота, падающие тонкими и частыми складками до лодыжек, на которых звенели обручи; то были злополучные девушки, оторванные от родины, от родных, от любви, может быть; они все же улыбались сквозь слезы, потому что власть красоты безгранична: необычайность порождает прихотливое желание и может царственная благосклонность ожидает одну из варварских невольниц в тайниках гинекея.

Их провожали воины, охраняя от прикосновения толпы.

Затем шли знаменщики, высоко подняв свои золоченые значки с изображением мистической ладьи, священного ястреба, головы Гатор, украшенной страусовыми перьями, гербов, исписанных именами царя, крокодила или с другими символами, религиозными и военными. К знаменам были привязаны длинные белые полосы с черными точками, изящно развевающиеся на ходу.

При виде знамен, возвещающих прибытие Фараона, депутации жрецов и именитых людей простерли молящие руки или опустили их к коленям, обратив ладони наружу. Некоторые упали на землю, прижав локти вдоль тела и склонив лоб на песок в позах совершенной покорности и глубокого обожания. Зрители махали во все стороны большими пальмовыми листьями.

Герольд или чтец со свитком в руках, покрытым иероглифами, приблизился один и занял место между знаменщиками и несущими курения, предшествующими носилкам царя.

Сильным голосом, звенящим, как медная труба, он возвещал победы Фараона; называл выигранные сражения, число пленников и военных колесниц, взятых у неприятеля, размеры добычи, количество золотого песку, слоновых клыков и благовонной смолы, число жирафов, львов, пантер и других редких животных; он называл имена варварских вождей, убитых дротиками или стрелами его величества, всесильного Ароэриса, возлюбленного всеми богами.

При каждом провозглашении народ испускал необъятный крик и с вершины ограды бросал на дорогу победителя длинные зеленые ветви пальм.

Наконец появился Фараон.

Жрецы, оборачиваясь равномерно, протягивали к нему свои амширы, бросив фимиам на горящие уголья в маленькой бронзовой чашке, и почтительно шли, пятясь задом, а благовонный голубой дым восходил к обонянию победителя, по-видимому, совершенно безразличного к этим почестям, подобно божеству из бронзы или базальта.

Двенадцать оэрисов или военачальников в касках с павлиньим пером, с обнаженным торсом и полосатой тканью вокруг бедер, несли большой щит, на котором был воздвигнут трон Фараона; это было кресло с ножками и ручками в виде львиных лап, с подушкой, спущенной с высокой спинки, с сетью из розовых и голубых цветов на боковых сторонах; ножки, ручки и перекладины трона были позолочены, и яркие краски покрывали пространство между позолотой.

С каждой стороны трона четыре веероносца покачивали укрепленные

на позолоченных древках огромные полукруглые опахала из перьев; два жреца высоко несли большой, богато изукрашенный рог изобилия, из которого свешивались гигантские цветы лотоса.

На голове Фараона был шлем в виде высокой митры с вырезами около ушей и прикрывающей затылок. Голубой фон шлема был усеян множеством глазков, составленных из трех кругов — черных, белых и красных; кайма, алая и желтая, покрывала край, и символическая змея, окружая своими золотыми кольцами шлем, поднимала выпуклое горло и голову над царским челом; две длинных рубчатых ленты пурпурного цвета лежали на плечах, дополняя этот головной убор, изящный и величественный.

Широкий нагрудник из семи рядов эмалей, драгоценных камней и золотых бус, покрывая грудь Фараона, ярко сиял на солнце. Верхняя одежда была в клетках розового и черного цвета, и ее длинные концы в несколько раз обертывали туго стан; короткие рукава, окаймленные золотым, красным и голубым, открывали округленные и сильные руки; левая из них была покрыта широким металлическим наручником, предохраняющим от трения стрелы, когда Фараон пускал стрелу из своего трехугольного лука, а правая, украшенная змеевидным браслетом, держала длинный скипетр, увенчанный бутоном лотоса. Под верхней одеждой тело было окутано тончайшим полотном со множеством складок, стянутых у бедер поясом из золотых и эмалевых пластинок. Выше пояса видно было тело, блестящее и гладкое, точно розовый гранит, обработанный искусным мастером. Остроносые сандалии, похожие на коньки, обували ноги, узкие и длинные, стоявшие рядом подобно ногам богов на стенах храмов.

Его гладкое, безбородое лицо с крупными и правильными чертами, казалось, недоступное никакому человеческому волнению и неокрашенное кровью обыденной жизни, своей мертвенной бледностью, сжатыми губами, громадными глазами, увеличенными черной краской, с ресницами, никогда не опускавшимся, как у священного ястреба, внушало своей неподвижностью почтительный страх. Казалось, его глаза видят только вечное и бесконечное, а окружающие предметы не отражаются в них. Пресыщение наслаждениями, утомленность волей, немедленно исполняемой вслед за ее выражением, уединение полубога, кому нет равного среди смертных, отвращение к поклонениям и скука триумфов навсегда окаменили это лицо, неизменно кроткое и с ясной определенностью гранита. Судья душ, Озирис, не более его величественен и спокоен.

Большой ручной лев, лежа возле него на носилках, протянул огромные

лапы перед собой, как сфинкс на своем подножии, и щурил свои желтые глаза.

Веревка, прикрепленная к носилкам, связывала с Фараоном военные колесницы побежденных вождей; он влачил их за собой, как животных на привязи. Эти вожди с мрачным и свирепым выражением, со связанными некрасивым углом локтями неловко шатались в колесницах, которыми правили египетские возницы.

Далее следовали колесницы молодых князей из царской семьи; чистокровные кони, с изящными и благородными формами, тонконогие и нервные, с подстриженными щеткой гривами, запряженные попарно, встряхивали головами, украшенными пучками красных перьев и металлическими налобниками. Вся сбруя была прочна, изящна и легка.

Кузов колесницы, красный с зеленым, украшенный бронзовыми пластинками и полушарами, похожими на центральную выпуклость щита, имел по сторонам два колчана, один с дротиками, другой со стрелами. На боках колесницы позолоченные резные львы с поднятыми лапами и яростными мордами, казалось, готовы были зареветь и броситься на врага.

Головной убор юных князей состоял из повязки, стягивающей волосы и обвитой кольцом царственной змеи с поднятой головой; туники их были украшены по вороту и рукавам яркими вышивками и стянуты кожаными поясами с металлической пряжкой, покрытой иероглифами; у поясов висели длинные кинжалы с треугольным медным лезвием, а рубчатая рукоять оканчивалась головой ястреба.

На колеснице, рядом с каждым из князей, стоял возница, управляющий ею в битве, и оруженосец, отражающий своим щитом удары, направленные в сражающегося, который пускал стрелы и метал дротики из двух боковых колчанов.

За князьями следовали колесницы египетской конницы, в количестве двадцати тысяч, запряженные парами коней и с тремя воинами в каждой. Они двигались по десяти в ряд, ступицы их почти соприкасались, но никогда не сталкивались, благодаря ловкости возниц.

Несколько более легких колесниц, предназначенных для разведок, шли во главе; в каждой из них помещался лишь один воин и, для того чтобы его руки были свободны в сражении, вожжи были обмотаны вокруг его тела; склоняясь вправо, влево и назад, он управлял конями; чудесную картину представляли эти кони, как будто предоставленные самим себе, но сохранявшие неизменную правильность хода.

На одной из таких колесниц стоял стройный Ахмосис, которому покровительствовала Нофрэ, и окидывал взглядами толпу, стараясь

отыскать в ней Тахосер.

Топот коней, сдерживаемых с большим трудом, гром окованных медью колес, звон оружия — все это придавало грозную внушительность шествию войск, поселяя ужас в самых бесстрашных сердцах. Шлемы, перья, щиты, панцири, покрытые зеленой, красной и желтой чешуей, позолоченные луки и медные мечи сияли и горели на солнце, которое светило в небе над Ливийскими горами, словно великое око Озириса; чувствовалось, что удар такого войска должен сметать с земли племена, как ураган сдувает соломинку.

Под тяжестью бесчисленных колес земля содрогалась и звенела, точно взволнованная катастрофой в природе.

За колесницами шли отряды пехоты в боевом порядке, на левой руке со щитом, а в правой с копьем, секирой, луком или пращой, смотря по роду оружия; головы воинов были покрыты легкими шлемами с двумя пучками конских волос; широкий пояс в виде панциря из кожи крокодила стягивал стан. Их бесстрашный вид, безукоризненная равномерность движений, темно-бронзовый цвет лиц, потемневших во время недавнего похода в знойные области верхней Эфиопии, пыль пустыни, покрывшая их одежду, — все внушало восхищение их дисциплиной и мужеством. С такими воинами Египет мог покорить мир. Затем следовали союзные войска в шлемах варварской формы в виде удлиненной митры или увенчанных полумесяцем, наколотым на острие. Их мечи с широкими лезвиями и отточенные секиры наносили неисцелимые раны врагам.

Рабы несли возвещенную герольдами добычу на плечах и на носилках, смотрители зверей вели на привязи пантер и леопардов, которые ежились к земле как бы для того, чтоб спрятаться, вели страусов, хлопавших крыльями, жирафов, длинные шеи которых возвышались над толпой, и даже медведей, изловленных, как говорили, в Лунных горах.

Уже давно царь вступил в свой дворец, а шествие еще продолжалось.

Следуя мимо откоса, на котором стояла Тахосер вместе с Нофрэ, Фараон, господствовавший над толпой с высоты носилок, покоившихся на плечах оэрисов, медленно устремил на нее взор черных очей; он не повернул голову, ни один мускул лица не дрогнул, и его маска оставалась неподвижной, как золотая маска мумии, но взгляд его зрачков из-под окрашенных век скользнул в сторону Тахосер, и искра желания вспыхнула в их темных кругах; это было так же страшно, как если бы гранитные очи божественного изображения вдруг зажглись человеческой мыслью. Его рука слегка поднялась с кресла; движение ни для кого неприметное заметил один из служителей, шедший рядом с носилками, и его глаза обратились к

дочери Петамунофа.

Ночь опустилась внезапно, потому что сумерек нет в Египте; ночь, или, вернее, голубой день, следует за золотым днем. На лазури, бесконечно прозрачной, загорелись звезды, и их отражение смутно трепетало в водах Нила, взволнованных судами, перевозившими на другой берег население Фив. Последние когорты армии еще двигались на равнине, как кольца гигантской змеи, в то время когда лодка доставила Тахосер к воротам ее дворца.

IV

Фараон прибыл к своему дворцу, сооруженному невдалеке от военного поля, на левом берегу Нила.

В прозрачном голубоватом свете ночи обширное здание казалось еще более гигантским, и его громадные углы вырезались на фиолетовом фоне Ливийской горной цепи с мрачной и устрашающей силой. Идея беспредельного могущества связывалась с этими несокрушимыми глыбами, по которым Вечность, казалось, скользнет, как капля воды по мрамору.

Обширный двор среди массивных стен, украшенных на вершине карнизами с глубокой резьбой, составлял преддверие дворца; в глубине две высоких колонны с капителями в виде пальмовых листьев обозначали вход во вторую ограду. За колоннами возвышался гигантский пилон, сложенный из двух чудовищных камней, окаймлявших монументальную дверь, скорей предназначенную для гранитных колоссов, чем для людей из плоти и крови. Занимая глубину третьего двора, возвышался сам дворец в грозном величии; два его выступающих павильона, подобные бастионам крепости, резко выдвигались вперед, покрытые плоскими барельефами гигантских размеров. Они изображали в освященной обычаем форме Фараона-победителя, бичующего врагов и попирающего их ногами; неимоверные страницы истории, начертанные резцом в колоссальной каменной книге, которая предназначалась для чтения самому отдаленному потомству.

Эти павильоны были гораздо выше, чем пилон, и их широкие зубчатые карнизы гордо поднимались к небу на фоне Ливийской горной цепи, замыкавшей картину. Над громадной дверью дворца, с двумя сфинксами по бокам, пылали три яруса квадратных окон, освещенных изнутри, на темном фасаде, как светящаяся шахматная доска. Над первым этажом выступали балконы, поддерживаемые статуями согнувшихся под тяжестью пленников.

Офицеры царского двора, евнухи, служители, рабы, оповещенные о приближении его величества трубными звуками фанфар и барабанным боем, вышли навстречу и ожидали, склонив колена или распростершись на плитах. Пленники из презренного племени Шето держали урны с солью и оливковым маслом, в которые были опущены фитили, пылавшие живым и светлым пламенем, и стояли в ряд от дверей дворца до первой ограды, неподвижные, точно бронзовые светильники.

Скоро голова шествия вступила во дворец, и отраженные эхом звуки

труб и барабанов раздались так громко, что спугнули ибисов, спавших на карнизах.

Оэрисы остановились у дверей дворца между двух павильонов. Рабы принесли лестницу о нескольких ступенях и поставили ее у щита; Фараон поднялся с величественной медлительностью и стоял несколько мгновений совершенно неподвижно. Стоя на пьедестале из человеческих плеч, он возвышался над всеми головами; в необычайном освещении восходящей луны и огня светильников, в одеянии, резко сверкавшем золотом и эмалями, он походил на Озириса или Тифона. Он спустился по ступеням, точно изваяние, и вошел во дворец.

Фараон прошел среди склонившихся к земле рабов и прислужниц первый внутренний двор, окруженный массивными колоннами, исписанными иероглифами. Затем открылся перед ним второй двор с крытыми коридорами по сторонам. Тяжелые столбы и архитравы из громадных камней казались несокрушимыми вовеки; многоцветные украшения, барельефы, покрытые красками, придавали в дневном свете легкость и богатство этим глыбам, но ночью они являлись во всей своей тяжести.

На карнизах обычного египетского стиля, среди которых обрисовывалась в виде широкого параллелограмма темная лазурь неба, трепетало под дуновением ветра пламя светильников, зажженных на некотором расстоянии один от другого. Их красные точки в отражении бассейна для рыб посредине двора смешивались с голубыми искрами лунного света; низкие деревца вокруг бассейна выделяли тонкий и нежный аромат.

В глубине дверь вела в гинекей и внутренние помещения, отделанные с особой роскошью.

Ниже потолка раскинулся фриз из ряда священных змей, поднявшихся на хвосте и с сильно выдающейся грудью. На карниз двери мистический шар распростер на обе стороны свои длинные клетчатые крылья. Симметричные ряды колонн поддерживали потолок с золотыми звездами на голубом фоне. На стенах широкие картины плоских барельефов, покрытых блистающими красками, изображали домашние занятия гинекея и сцены интимной жизни. Там был изображен Фараон, на троне, с важным видом играющий в шашки с одной из жен, которая стоит перед ним, нагая, с повязкой на голове и цветами лотоса. На другой картине Фараон, не изменяя своей властной и священной бесстрастности, протягивал руку и касался подбородка юной девы, все одеяние которой состояло из браслета и ожерелья, а она предлагала ему понюхать букет цветов.

На других изображениях он нерешительно улыбался, как будто хитро скрывая свой выбор среди юных цариц, старающихся победить его важность нежным и изящным кокетством.

Далее, музыканты и танцовщицы, купальщицы, женщины, умащенные благовониями и растираемые рабынями, в изящных позах, с юной нежностью форм и чистотою лиц, не превзойденной ни в одном искусстве.

Рисунки орнаментов, богатые и сложные, безукоризненно исполненные, соединявшие в себе зеленый, красный, голубой, желтый и белый цвета, покрывали свободное пространство стен. На гербах и продолговатых полосах были написаны титулы Фараона и изречения, прославляющие его.

На поверхности громадных колонн шли процессией декоративные и символические фигуры, увенчанные пшентом, держащие в руке тау; их глаз, смотрящий прямо, на лице, обращенном в профиль, казалось, с любопытством заглядывал в залу. Линии иероглифов разделяли полосы, покрытые изображениями. Среди зеленых листьев, вырезающихся на капители колонн, бутоны и чашечки лотосов, окрашенные в их природный цвет, казались подобием цветочных корзин.

Между колоннами красивые подставки из кедрового дерева, с резьбой и позолотой, поддерживали бронзовые чаши с благовонным маслом, в которых горели фитили, распространяя благоуханный свет.

С лампами чередовались группы продолговатых ваз, соединенных гирляндами, а у подножия колонн расстилались кучки золотистых цветов, смешанных с полевыми травами и бальзамическими растениями.

В средине залы круглый стол из порфира, поддерживаемый фигурой пленника, был покрыт урнами, вазами, флаконами, со множеством гигантских искусственных цветов, потому что живые цветы показались бы слишком мелкими среди этой обширной залы, и надо было природе придать размеры, соответствующие грандиозному созданию человека. Живые краски — золотисто-желтый, лазурный, пурпуровый — покрывали огромные чашечки этих цветов.

В глубине возвышался трон Фараона с своеобразно соединенными ножками и перекладинами, среди которых, в углах, четыре статуэтки изображали варваров-пленников, азиатов и африканцев, которых легко было узнать по их лицам и одеждам; фигуры несчастных со связанными за спиной руками, на коленях в неловкой позе, склонившись всем телом, поддерживали на своих головах подушку в клетках, золотых, красных и черных, на которую садился победитель. Головы фантастических животных с висящей из пасти, вместо языка, кистью, украшали перекладины кресла.

По сторонам были расставлены, для князей, кресла менее богатые, но чрезвычайно изысканные и причудливые, потому что египтяне вырезают из дерева кедрового, кипарисного и сикоморового, золотят и распиливают его и украшают эмалью так же умело, как и высекают в скалах Филэ и Сиены чудовищные гранитные глыбы для дворцов Фараонов и храмов богов.

Царь прошел залу медленным и величественным шагом, и ни разу не дрогнули его окрашенные ресницы; ничто не говорило о том, что его тронули приветственные клики любви или что он заметил человеческие существа, которые преклонялись и простирались у его ног и лба, которых касались складки его калазириса. Он сел, сдвинув ноги и положив руки на колена в торжественной позе божеств.

Юные князья, красивые, как женщины, сели вправо и влево от своего отца. Слуги сняли с них эмалевые нагрудники, пояса и мечи, вылили на их волосы сосуды с благовониями, натерли их руки ароматными маслами и подали им гирлянды цветов, свежие, благоухающие ожерелья, более удобные для празднества, чем тяжелая роскошь из золота, драгоценных камней и бус.

Красивые нагие рабыни, нежные тела которых являли переход от отрочества к юности, с узкой повязкой у бедер, не скрывавшей их прелестей, с цветком лотоса в волосах, держа в руке алебастровые чаши, робко окружили Фараона и лили пальмовое масло на его плечи, руки и торс, гладкие, как яшма. Другие прислужницы колебали над его головой широкие опахала из окрашенных страусовых перьев, укрепленные на ручках из слоновой кости или сандалового дерева, которое, согретое их маленькими руками, издавало очаровательный запах; некоторые поднимали к ноздрям Фараона стебли лотоса с распустившимися в виде чаши кадильниц цветами. Все эти заботы совершались с глубоким благоговением и некоторым почтительным страхом, как бы пред существом божественным, бессмертным, сошедшим из снисхождения с высших сфер к жалкому людскому стаду. Потому что царь есть сын богов, любимец Фрэ, покровительствуемый Аммоном-Ра.

Женщины гинекея, совершив поклонение, поднялись и сели на красивых резных креслах, позолоченных и раскрашенных, с красными кожаными подушками, и представляли собой ряд изящных и улыбающихся головок, которые живопись любит изображать.

Одеяние одних состояло из газовой белой туники с непрозрачными полосами и с короткими рукавами, оставлявшими открытыми тонкие руки, покрытые браслетами от кисти до локтя; на других, обнаженных до пояса, были бледно-лиловые юбки с более темными полосами, покрытые сеткой

из розовых стеклянных трубочек, между клетками которых виднелся герб Фараона, начертанный на ткани; юбки иных были красные, с сетью из черных бус; другие окутали себя тканью, точно сотканной из воздуха, прозрачной, как стекло, и расположили складки таким образом, чтобы кокетливо оттенить чистые очертания груди; испещренная голубыми, зелеными и красными блестками одежда некоторых облегала отчетливо их формы; на плечах некоторых женщин была надета мантия в складках, и пояс с висячими концами стягивал ниже груди их длинную одежду, украшенную бахромой.

Прически были не менее разнообразны: то заплетенные в косы волосы лежали спиралями, то они разделялись на три массы, одна спускалась на спину, а две других падали по краям щек; пышные парики их бесчисленных, круто завитых локонов, поддерживаемых золотыми нитями, рядами эмалей или бус, покрывали наподобие шлемов юные, очаровательные головки, которым не нужна была помощь искусства их красоте.

Все эти женщины держали в руке цветок лотоса, голубой, розовый или белый, и любовно вдыхали трепещущими ноздрями их сильный аромат. Стебель такого же лотоса от затылка изящно изгибался на голове, склонив свой бутон между бровей, подрисованных антимонием.

Перед ними черные и белые рабыни, на которых не было другого одеяния, кроме пояса у чресл, подавали им цветущие ожерелья, сплетенные из крокусов, снаружи белых, а внутри желтых, сафлоров пурпурного цвета, золотистых гелиохризов, из трихосов с красными ягодами, незабудок, которые точно сделаны из голубой эмали статуэток Изиды, и непентесов с опьяняющим запахом, заставляющим все забыть, даже далекую родину.

За этими рабынями следовали другие, держа на ладони правой руки серебряные и бронзовые чаши с вином, а в левой руке салфетки, которыми отирали губы.

Эти вина черпались из амфор глиняных, стеклянных или металлических, поставленных в красивых плетеных корзинах на подставках из легкого и нежного дерева. В корзинах были вина семи сортов: финиковое, пальмовое и виноградное, белое вино, красное, зеленое, молодое, финикийское, греческое и белое марэотийское с ароматом фиалки.

Фараон также взял чашу из рук кравчего, стоявшего у трона, и омочил губы в подкрепляющем питье.

Тогда зазвучали арфы, лиры, двойные флейты, мандоры, сопровождая победную песнь, которую запели певицы, стоя на одном колене и отбивая такт ладонями.

Началась трапеза. Эфиопляне приносили кушанья из дворцовых кухонь, где тысячи рабов в огненной атмосфере заняты были приготовлениями к пиру, и ставили их на столиках на некотором расстоянии от ужинающих; на блюдах бронзовых, из благовонного дерева с драгоценной резьбой, глиняных с яркой эмалью были поданы большие куски мяса, лопатки антилоп, гуси, нильские сомы, тесто, вытянутое в виде трубочек и скатанное, пирожки из кунжута и меда, зеленые дыни с розовой мякотью, гранаты с рубиновыми зернами, виноград цвета янтаря и аметиста. Гирлянды из папируса украшали своей зеленью блюда; кубки были обрамлены цветочными венками, и в центре столов, над грудой хлебов с светлой коркой, покрытой отпечатанными на ней рисунками и иероглифами, поднималась высокая ваза с ниспадавшими из нее в виде зонтика ветвями, в которых смешивались все цвета и ароматы. Даже под столами вокруг подставок были вазы с цветами лотоса. Цветы и цветы, повсюду цветы, даже под креслами пирующих; у женщин они были на руках, на шее, на голове, в виде браслетов, ожерелий, венков; светильники горели среди громадных букетов; блюда исчезали под зеленью; вина искрились, окруженные фиалками и розами: это была гигантская оргия цветов и благоуханий, своеобразных, неизвестных другим народам.

Каждую минуту рабы приносили из садов целые вороха клематитов, розовых лавров, цветов граната, ксерантемов, лотосов, чтобы заменить увядшие цветы; другие невольники бросали на уголья курильниц зерна нарда и кинамома.

Блюда и сосуды из резного дерева, в форме птиц, рыб, химер, с подливками и приправами были убраны так же, как и ложечки из слоновой кости, бронзы и дерева и ножи из меди и кремня; пирующие вымыли руки, и снова были поданы чаши с вином или игристым напитком. Кравчий черпал металлической чашей на длинной ручке темное вино и светлое из двух больших золотых чаш с фигурами коней и тельцов, стоявших на треножниках перед Фараоном.

Появились музыкантши, после того как ушел хор музыкантов. Широкие газовые туники закрывали молодые тела не более того, как чистая вода бассейна закрывает купальщицу; гирлянды из листвы папируса связывали густые волосы и висели, как длинные ленты, до земли; цветок лотоса украшал голову, большие золотые кольца блестели в ушах; нагрудник из эмалей и золотых бус обнимал шею, и браслеты звенели у кистей рук.

Одна играла на арфе, другая на мандоре, третья на двойной флейте, странно скрестив руки и правой рукой держа левую флейту, а левой —

правую; четвертая держала в горизонтальном положении у груди пятиструнную лиру; пятая била в четырехугольный барабан. Маленькая девочка, семи или восьми лет, одетая лишь одним поясом, ладонями отбивала такт.

Вошли танцовщицы — тонкие, гибкие, извилистые, как змеи; большие глаза их сверкали, обрамленные черными линиями век, жемчужные зубы блестели между алых губ; длинные спирали кос бились по щекам; легкие туники, с голубыми и белыми полосами, развевались вокруг тел, как туман; на других была только повязка в складках от бедер до колен, позволявшая любоваться их тонкими изящными ногами, нервными и сильными.

Сперва они принимали позу медлительного сладострастья, ленивой грации; потом, потрясая цветущими ветвями, звеня бронзовыми погремушками, ударяя своими маленькими руками в бубны и тамбурины, они отдались более живым пляскам, более смелым позам; стали делать пируэты и прыжки и закружились вихрем с возрастающим увлечением. Но Фараон, озабоченный и мечтательный, не удостоил оказать никакого знака благоволения и даже не взглянул на них.

И они ушли, краснея, смущенные и прижимая руки к тяжело дышащей груди.

Карлики с искривленными ногами, с горбатым и безобразным телом, ужимки которых обыкновенно разгоняли складки на челе Фараона, на этот раз не имели успеха: их кривлянья не вызвали улыбку на его губах и края их не приподнялись.

Под звуки странной музыки треугольных арф, систрумов, погремушек, кимвалов и труб, шуты в высоких белых митрах смешной формы выступили вперед, сложив два пальца руки и вытянув остальные, повторяя свои движения с отчетливостью автоматов и распевая нелепые песни, прерывающиеся диссонансами. Его величество не шевельнул бровью.

Женщины в маленьких касках с тремя висячими шнурами, соединенными кистью, с браслетами из черной кожи на лодыжках и кистях рук, в узких штанах, поддерживаемых перекинутой через плечо перевязью, проделали упражнения изумительной ловкости, извивались, откидывались назад, сгибали тело наподобие ветвей ивы, касаясь затылком и не отделяя от земли пятки и в такой позе выдерживая на себе тяжесть тела других акробаток. Некоторые жонглировали с шарами, подбрасывая их на все лады; одна, наиболее ловкая, надела наглазники, чтобы быть слепой, как Тмеи, богиня правосудия, и схватывала шары руками, не уронив ни одного. Но к этим чудесам ловкости Фараон остался равнодушен и также не обратил внимания и на подвиги двух сражающихся, которые, надев

перчатку на правую руку, фехтовались палками. Он даже отстранил шахматную доску, которую поднесла к нему прекрасная Твэа, хотя обычно он смотрел на нее благосклонным оком; тщетно Аменсэ, Тайа и Хонт-Решэ отважились на некоторые робкие ласки; он встал и удалился в свои покои, не сказав ни слова.

Неподвижно стоял на пороге служитель, который во время триумфального шествия приметил незаметный жест царя.

Он сказал: „О, любимый богами царь, я отделился от шествия, переплыл Нил в легкой лодке из папируса, следуя за баркой той женщины, на которую благоволил упасть твой ястребиный взор. Это Тахосер, дочь жреца Петамунофа!”

Фараон улыбнулся: „Хорошо! Я дарю тебе колесницу с конями, нагрудник с голубыми камнями и сердоликами и золотой обруч такого же веса, как базальтовый”.

А женщины в отчаянии срывали цветы с головы, раздирали свои газовые одежды и рыдали на гладких плитах, отражавших, как зеркало, их прекрасные тела: „Наверное одна из этих проклятых варварских пленниц похитила сердце нашего властелина!”

V

На левом берегу Нила раскинулась вилла Поэри, того молодого человека, который так взволновал Тахосер, когда, направляясь навстречу торжественному шествию Фараона, она проехала в своей запряженной быками колеснице под балконом, к которому бесстрастно склонился красивый мечтатель.

То было значительное владение, занимавшее между рекой и первыми скатами Ливийской цепи обширный участок земли, который в период разлива покрывался красноватой водой с плодородным илом; а в остальное время года искусно прорытые каналы поддерживали свежесть почвы.

Ограда из известкового камня, взятого из соседних гор, окружала сад, житницы, кладовые и дом; стены, слегка расширяющиеся книзу, были в верхней части унизаны металлическими остриями, которые помешали бы попытке перелезть через них. Трое ворот, решетки которых прикреплялись к столбам, украшенным гигантским цветком лотоса у вершины капители, прорезали ограду на трех из ее сторон; у четвертой стены возвышался павильон, обращенный одним из своих фасадов к саду, а другим к дороге.

Этот павильон совсем не имел сходства с домами Фив: строитель не имел в виду тяжеловесности постройки, монументальных линий и дорогих материалов городских сооружений, но желал достигнуть легкого изящества, простоты, сельской красоты, гармонирующей с зеленью и тишиной полей.

Фундамент, до которого могли достигнуть воды Нила при большом подъеме, был из песчаника, а остальные части постройки из сикоморового дерева. Длинные и необычайно легкие колонны, похожие на мачты флагов перед царскими дворцами, поднимались от земли легким взлетом к карнизам, украшенным пальмовыми листьями, и заканчивались на вершине капителями в форме чашечки лотоса.

Первый этаж дома, приподнятый над нижним этажом, не доходил до карнизов, окаймлявших крышу, и над ним находился, так сказать, другой открытый этаж между его потолком и плоской крышей виллы.

Низкие колонки с капителями в виде цветов составляли галерею вокруг этого открытого всем ветрам верхнего помещения.

Окна, в верхней части более широкие, чем в нижней, соответственно египетскому стилю и закрывающиеся двойными ставнями, пропускали свет в первый этаж. Нижний этаж на уровне земли освещался более узкими и

более сближенными окнами.

Над дверью, украшенной двумя барельефами, виднелся крест, помещенный в средине сердца и окаймленный параллелограммом, срезанным в нижней части, чтобы дать место этому знаку доброго предвестья, который имеет общеизвестное значение: „добрый дом”.

Вся постройка была раскрашена нежными и приятными красками; лотосы выступали по очереди, голубые и розовые, из своих зеленых чашечек; золотистые пальмовые ветви обрисовывались на лазурном фоне; белые стены фасадов оттеняли раскрашенные каймы окон, а сети красных и зеленых линий окаймляли квадраты и очерчивали соединения камней.

Вне стены ограды, к которой прилегал павильон, тянулся ряд подстриженных конусообразно дерев, составлявших преграду для несущего пыль южного ветра, всегда напитанного зноем пустыни.

Перед павильоном зеленел обширный виноградник: каменные столбы, симметрично расположенные, обрисовывали аллеи, пересекавшиеся под прямым углом; лозы раскидывались с одного столба на другой гирляндами своей листвы, образовывая ряд зеленых аркад, под которыми можно было свободно гулять. Земля, тщательно разработанная и собранная в виде холмиков у каждого ствола, оттеняла своим коричневым цветом веселую зелень листвы, в которой играли птицы и солнечные лучи.

С каждой стороны павильона на прозрачном зеркале двух продолговатых бассейнов плавали цветы и водяные птицы. По углам бассейнов четыре высоких пальмы раскинули зонтом зеленый ореол листьев.

Правильно очерченные узкими дорожками отделения сада, вокруг виноградника, были предназначены для различной культуры. В аллее, окружавшей весь участок, пальмы чередовались с сикоморами; большие квадраты сада были засажены фиговыми, персиковыми, миндальными, оливковыми, гранатовыми и другими плодовыми деревьями, на меньших пространствах были тамарисы, мирты, мимозы и другие более редкие породы, вывезенные из-за Нильских водопадов, из стран под тропиком Рака, из оазисов Ливийской пустыни, с берегов Эритрейского залива; египтяне с любовью отдаются культуре деревьев и цветов и берут как дань с побежденных народов новые виды растений.

Всевозможные цветы, разнородные дыни, бобы, луки наполняли гряды. В двух других бассейнах больших размеров, снабжаемых водой из Нила, проведенной закрытым каналом, плавали две маленькие лодки для развлечения хозяина рыбной ловлей: рыбы разнообразных видов и ярких цветов играли в прозрачной воде среди стеблей и широких листьев лотоса.

Массы роскошной растительности окружали бассейны, отражаясь в их зеленом зеркале.

Возле каждого пруда возвышалась беседка; колонки поддерживали легкую крышу, образуя открытый балкон, с которого можно было любоваться водами, вдыхая свежесть утра и вечера и отдыхая на деревянных и тростниковых креслах.

Сад, озаренный рождающимся светом дня, был полон радости, спокойствия, счастья. Зелень деревьев была так свежа, краски цветов так ярки; воздух и солнце весело заливали сад своим дыханием и лучами; контраст пышной зелени и бесплодной белизны Ливийской цепи гор вдали, за оградой, вырезавшихся на голубом фоне неба, был так резок, что чувствовалось желание не уходить из этого сада и раскинуть здесь свой шатер. Здесь было как бы гнездышко для счастья, о каком можно только мечтать.

По аллеям ходили слуги на плече с коромыслом, на концах которого висели на веревках глиняные сосуды с водой, и они выливали ее в ямки, вырытые у ствола каждого дерева. Другие наполняли водой деревянные желоба, которые питали ею наиболее жаждущие растения сада. Некоторые деревья подстригались в шарообразной или яйцевидной форме. При помощи двух кусков дерева, связанных веревочной петлей, рабочие, склонившись к земле, разрыхляли ее для плантаций.

Красивое зрелище представляли эти люди с черными вьющимися волосами, с торсом кирпичного цвета, с одной лишь белой повязкой на бедрах, ходившие среди зелени поспешно, но без суеты и напевая сельскую песню, в ритм, своих шагов. Птицы на деревьях как будто знали их и улетали только когда кто-нибудь, проходя, задевал ветку дерева.

Открылась дверь павильона, и Поэри появился на пороге. Он был одет, как египтянин, но черты его лица говорили, что он не принадлежит к первобытному племени долины Нила. Очевидно, он не был *Рот-эн-нэ-ром*; его тонкий орлиный нос, плоские щеки, строгие и сжатые губы, безукоризненный овал лица резко отличались от обычного облика египтян. И цвет его кожи был не медно-бронзовый, а бледный, слегка оливкового оттенка, с едва заметным румянцем, созданным обильной и чистой кровью. Глаза были темно-синие, как ночное небо; волосы более мягкие и шелковистые вились менее крутыми завитками, плечи не были так высоки и прямолинейны, что представляет характерную черту египетской расы и в изваяниях храмов, и на фресках гробниц.

Все эти своеобразные черты создавали редкую красоту, которая тронула сердце дочери Петамунофа. С того дня, как она случайно увидела

Поэри в галерее павильона, на его привычном после окончания сельских работ месте, Тахосер много раз возвращалась к его вилле, под предлогом прогулки, и проезжала в своей колеснице мимо балкона.

Но, хотя она надевала самые красивые одежды и самые драгоценные ожерелья, браслеты самой тонкой работы, украшала волосы самыми свежими цветами лотоса, удлиняя до висков черные линии, окаймлявшие глаза, и оживляла румянами цвет лица, ни разу Поэри, как казалось, не обратил на нее внимания. А Тахосер была прекрасна, и за ее любовь, которою пренебрегал задумчивый владелец сельской виллы, заплатил бы очень дорого сам Фараон: он отдал бы красавиц Твэа, Тайа, Аменсэ, Хонт-Решэ, азиатских пленниц, золотые и серебряные сосуды, ожерелья из цветных камней, воинские колесницы, свое непобедимое войско, свой жезл, все, даже свою гробницу, над которой с начала своего царствования работали во мраке тысячи рук!

В пламенных странах, объятых огненным дыханьем ветра, любовь не такова, как на гиперборейских берегах, где спокойствие сходит с неба вместе с холодом. Не кровь, а огонь течет в жилах, и Тахосер томилась, изнывая, вдыхая благовония, окружая себя цветами и вкушая напитки, дающие забвение. Музыка ее утомляла и чрезмерно изощряла ее чувствительность; пляски подруг не радовали ее; ночью сон бежал от ее глаз и, тяжело дыша, задыхаясь, вздыхая, она покидала пышное ложе и ложилась на широкие плиты, прилегая грудью к твердому граниту, как бы желая вдохнуть в себя его прохладу.

В ту ночь, которая последовала за торжественным въездом Фараона, Тахосер почувствовала себя такой несчастной, такой чуждой жизни, что пожелала — прежде чем умереть — сделать последнюю попытку.

Она окуталась простою тканью, оставила на руке один лишь браслет из ароматного дерева, обернула голову полосатым газом и, при первых лучах дня, неслышно для Нофрэ, грезившей о прекрасном Ахмосисе, вышла из своей опочивальни, прошла через сад, отодвинула засовы двери, ведущей к Нилу, разбудила гребца, спавшего на дне лодки из папируса, и приказала перевезти себя на другой берег реки.

Колеблющимся шагом, прижимая руку к сердцу, чтоб сдержать его биение, она подошла к жилищу Поэри.

Уже рассвело, и ворота открывались, пропуская быков на работу и стада на пастбища.

Тахосер склонила колена на пороге, подняла руку над головой с жестом мольбы, еще более прекрасная в смиренной позе и скромной одежде. Ее грудь трепетала, слезы текли по бледным щекам.

Поэри заметил ее и принял за ту женщину, какой она и была, за несчастную.

— Войди, — сказал он, — войди без страха, дом гостеприимен.

VI

Дружественные слова Поэри успокоили Тахосер, и она оставила свою молящую позу и встала. Живой румянец залил ее щеки: стыдливость возвратилась к ней вместе с надеждой; она покраснела при мысли о том странном поступке, на который ее толкнула любовь, и на пороге дома, который она столько раз переступала в своих мечтах, она поколебалась: стыдливость девы возрождалась в ней пред лицом действительности.

Поэри, полагая, что только робость, спутница несчастья, препятствует Тахосер войти в дом, сказал ей своим музыкальным и тихим голосом, в котором слышался иностранный акцент:

— Войди, дева, не содрогайся; дом достаточно обширен, чтобы приютить тебя. Если ты утомлена, отдохни; если хочешь пить, слуги принесут тебе воды, охлажденной в глиняных сосудах; если ты голодна, они положат перед тобой пшеничный хлеб, сухие финики и смоквы.

Дочь Петамунофа, успокоенная приветливыми словами, вошла в дом, который вполне оправдывал гостеприимную надпись над его дверью.

Поэри провел ее в комнату нижнего этажа, приятную для глаз, с белыми стенами, разделенными на квадраты зелеными полосками с цветками лотоса наверху. Тонкая циновка из тростника с симметричными рисунками, покрывала пол; в каждом углу комнаты большие пучки цветов стояли в вазах на подставках, распространяя благоухание в прохладном полумраке комнаты. В глубине низкое ложе с резными украшениями в виде листьев и фантастических животных манило к отдыху или безделью. Два кресла из нильского тростника с откинутой назад спинкой, скамейка, вырезанная из дерева в форме раковины на трех ножках, и продолговатый стол, также на трех ножках, окаймленный инкрустациями, расписанный по верхней доске змеями, гирляндами и аллегориями земледелия, на котором стояла ваза с розовыми и голубыми лотосами, дополняли простое и привлекательное убранство этой сельской комнаты.

Поэри сел на ложе. Тахосер, подогнув под себя одну ногу и согнув другую в колене, поместилась перед юношей, устремившем на нее взгляд, полный благосклонных вопросов.

Она была очаровательна: прозрачное покрывало с падающими позади концами оставляло открытыми пышные пряди волос, связанных узкой белой полосой, и ее нежное, очаровательное и грустное лицо. Туника без рукавов открывала до плеч изящные руки, предоставляя им полную

свободу движений.

— Мое имя Поэри, — сказал молодой человек, — я управляющий государственными имениями и имею право при торжествах носить венец с позолоченными рогами тельца.

— Я зовусь Хора, — ответила Тахосер, которая заранее придумала свою маленькую сказку. — Мои родители умерли, и когда заимодавцы продали их достояние, то мне осталось только, чтоб заплатить за их погребение. Я осталась одинока и без средств; но если ты хочешь меня приютить, то я сумею оценить твое гостеприимство: меня научили женским работам, хотя я не нуждалась в них. Я умею прясть, ткать холст, вплетая в него разноцветные нити, изображать цветы и украшения иглой на тканях; я могу также, когда ты будешь утомлен работами и дневным зноем, увеселять тебя пеньем и игрой на арфе или лютне.

— Будь желанной гостей, Хора, у Поэри, — сказал юноша. — Ты найдешь здесь, не разбивая твои силы, потому что ты кажешься мне слабой, занятие, пристойное для девы, знавшей более счастливые времена. Среди моих служанок есть девушки кроткие и разумные, которые будут тебе приятными подругами, и они объяснят тебе порядок жизни в этом сельском доме. Тем временем дни пойдут своей чередой, и наступит, может быть, более счастливое для тебя время. Если же нет, ты можешь в тишине состариться у меня среди изобилия и мира: гость, посланный богами, священен.

Сказав эти слова, Поэри встал как бы для того, чтоб уклониться от благодарностей Хоры, простершейся у его ног, целуя их, как делают несчастные, которым оказали милость; но губы влюбленной девушки с трудом отрывались от его ног, белых и прекрасных, как ноги божеств.

Прежде чем уйти для наблюдения за работами, Поэри обернулся на пороге и сказал:

— Останься здесь, пока я не укажу тебе твою комнату. Я пришлю тебе пищу с одним из моих слуг.

Он удалился спокойным шагом, покачивая у кисти руки бич начальника. Работники приветствовали его, прикасаясь одной рукой к своей голове, а другой — к земле; но по сердечности их приветствия можно было заключить, что он добрый хозяин. Иногда он останавливался, отдавал приказание или высказывал совет, так как он был очень сведущ в земледелии и садоводстве; потом шел дальше, взглядывая по сторонам, внимательно за всем наблюдая. Тахосер, смиренно проводив его до двери, села на пороге, поставив локоть на колено и опустив подбородок на ладонь руки, и следила взглядом, как он скрылся под навесом листвы. Он уже

ушел в поля, а она все еще смотрела вслед ему.

Слуга, согласно приказанию, отданному Поэри на ходу, принес на блюде ногу гуся, лук, печеный в золе, пшеничный хлеб и смоквы, а также сосуд с водой, закупоренный миртовыми листьями.

— Вот что прислал тебе господин; ешь, девушка, и восстанови свои силы.

Тахосер не хотела есть, но ей следует проявить голод: несчастные должны бросаться на кушанья, которые им предлагает сострадание. И она отведала пищу и выпила глоток свежей воды.

Когда удалился служитель, она снова приняла свою задумчивую позу. Тысячи противоположных мыслей неслись в ее голове: то она, с девичьей стыдливостью, раскаивалась в своем поступке, то с любовной страстью одобряла свою смелость. Потом она говорила себе: „Правда, вот я под кровом Поэри; я буду свободно видеть его во все дни; буду молча упиваться его красотой, более свойственной богу, чем человеку, слушать его чудный голос, подобный музыке души. Но он, не замечавший меня в моих сияющих яркими красками одеждах, в самых драгоценных моих уборах, благоухающую ароматами и цветами, в расписной и раззолоченной колеснице, под покровом зонта, окруженную, подобно царице, толпой слуг, он обратит ли внимание на смиренную бедную деву, принятую из сострадания, одетую в простые ткани? То, чего не могло достигнуть мое великолепие, будет ли достигнуто моей нищетой? А, может быть, я некрасива и Нофрэ только льстит, когда утверждает, что от неведомого источника Нила до его впадения в море нет девы прекраснее, чем ее госпожа?.. Нет, я прекрасна; тысячу раз мне это говорили горячие взоры людей и еще более раздосадованные взгляды и презрительные улыбки женщин, которые проходили мимо меня. Полюбит ли меня когда-нибудь Поэри? Он так же приветливо принял бы старуху с морщинами на лбу и впалой грудью, в жалких лохмотьях и с серой пылью на ногах. Всякий другой в образе Хоры признал бы Тахосер, дочь великого жреца Петамунофа; но он не склонил ко мне своего взора, точно базальтовое изваяние бога, не глядящее на благочестивых, которые приносят ему в жертву мясо антилоп и цветы лотоса”.

Такие размышления смущали мужество Тахосер; потом она снова начинала верить, что ее красота, юность и любовь смягчат когда-нибудь бесчувственное сердце: она будет так нежна, внимательна и преданна и столько кокетства применит к своей бедной одежде, что Поэри, конечно, не устоит. И тогда она ему откроет, что смиренная дева есть дочь знатной семьи, владеет рабами, землями и дворцами; и в мечтах она представляла

себе, после блаженства в скромной доле, жизнь счастливую, блестящую, лучезарную.

„Прежде всего надо быть прекрасной”, — подумала она, вставая и направляясь к одному из бассейнов.

Опустившись на колени на каменную ограду, она омыла лицо, шею и плечи; взволнованная вода в своем зеркале, разбитом на тысячу кусков, отражала пред ней ее лицо, смущенное и трепещущее, которое все же улыбалось как бы сквозь прозрачную зеленую ткань; а рыбки, видя ее тень и в надежде на корм, толпами стремились к краю бассейна.

Она сорвала несколько цветов лотоса, распустившихся на поверхности воды, обвила их стебли вокруг повязки на волосах и создала головной убор, с которым не сравнились бы никакие украшения рук Нофрэ, хотя бы она опустошила все сундуки с драгоценностями.

Когда Тахосер закончила свое убранство и встала, свежая и сияющая, домашний ибис, важно смотревший на то, что она делала, выпрямился на своих длинных ногах, вытянул шею и захлопал крыльями, точно приветствуя ее.

Затем она вернулась на прежнее место у дверей павильона и стала ждать Поэри. Небо было густо-синее; волны света трепетали в прозрачном воздухе, опьяняющие ароматы исходили от цветов и растений; птицы прыгали на ветвях; бабочки преследовали друг друга и плясали на крыльях. Рядом с этой оживленной картиной природы развертывалась одушевлявшая ее картина человеческой деятельности. Садовники ходили в разных направлениях; слуги несли пучки трав и связки овощей; другие у стволов смоковниц принимали в корзины плоды, которые им бросали приученные к этой работе обезьяны, сидевшие на высоких ветвях.

Тахосер с восхищением любовалась окружавшей ее юной природой, мир которой проникал в ее душу, и она подумала: „Какая сладость быть любимой здесь в сиянии солнца, среди благоуханий и цветов!”

Поэри вернулся; он окончил свой обход и удалился в свою комнату на время палящих часов дня. Тахосер робко за ним последовала и остановилась у дверей, готовая удалиться при малейшем его движении. Но Поэри сделал ей знак, чтобы она осталась.

Она приблизилась на несколько шагов и опустилась на колени на циновке.

— Ты мне сказала, Хора, что умеешь играть на лютне; возьми ее со стены, коснись струн и спой мне какую-нибудь старинную песню, очень тихую, нежную и медленную. Сон полон прекрасных видений, если звуки музыки привлекают его.

Она сняла лютню, приблизилась к ложу, на котором лежал Поэри, опершись головой о деревянное изголовье в виде полумесяца, и затем, прижав инструмент к своему взволнованному сердцу, взяла несколько аккордов. Потом запела, слегка дрожащим голосом, старую египетскую песню, смутное воспоминание о предках, передаваемое из рода в род, с повторяющимся припевом глубокой и нежной печали.

— Ты меня не обманула, — сказал Поэри, обращая синие очи к девушке. — Ты знаешь размер песни, как настоящая музыкантша, и ты могла бы проявить свое искусство в царских дворцах. Но ты придаешь новое выражение песне, точно ты сама ее придумала, и ты влагаешь в нее волшебное очарование. И твое лицо теперь не то, какое было утром; другая женщина проявляется в тебе, точно свет сквозь полотно. Кто ты?

— Я Хора. Разве я не рассказала тебе мою жизнь? Но только я отерла с лица пыль дороги, оправила складки измятой одежды и вложила немного цветов в волосы. Я бедна, но это не причина, чтобы быть мне безобразной. И боги часто не дают красоты богатым. Но угодно ли тебе, чтобы я продолжала?

Глаза Поэри, сперва обращенные к Тахосер, скоро полузакрылись, потом сомкнулись совсем. Девушка продолжала перебирать струны и все тише и тише повторяла припев песни. Поэри заснул. Она прервала пение и стала обвевать его опахалом из пальмовых листьев, которое было брошено на столе.

Поэри был красив, а сон придал его правильным чертам выражение томное и нежное; длинные опущенные ресницы, казалось, скрывали от него некое небесное видение, а прекрасные алые губы, полуоткрытые, трепетали, как бы обращаясь с немыми словами к невидимому существу.

Тахосер долго любовалась им, потом тишина и уединение придали ей смелости и, забыв все, она склонилась к челу спящего, сдерживая дыхание, прижимая руку к сердцу, и коснулась его головы легким летучим поцелуем. И встала, в смущении краснея.

Он почувствовал смутно, сквозь сон, прикосновение губ Тахосер, вздохнул и промолвил по-еврейски: „О, Рахиль, возлюбленная Рахиль!”

Слова незнакомого языка не имели значения для дочери Петамунофа; она снова взяла опахало из пальмовых листьев, с надеждой в сердце и опасаясь разбудить Поэри.

VII

Когда наступил рассвет, Нофрэ, спавшая на узком ложе у ног своей госпожи, проснувшись, не услышала, к удивлению, обычного призыва Тахосер; поднялась, опираясь на локоть, и увидела, что ее ложе пусто. Между тем первые солнечные лучи, достигая карнизов портика, уже бросали на стену тень от капителей высоких колонн. Обычно Тахосер не пробуждалась так рано и не вставала с постели без помощи своих женщин и не выходила из опочивальни, не приведя в порядок прическу после ночного сна и не омывшись благовонной водой, стоя на коленях и сложив на груди руки.

Нофрэ, встревоженная, набросила на себя прозрачную тунику, надела легкие сандалии из пальмовых волокон и принялась искать свою госпожу.

Прежде всего она надеялась найти ее под портиками двора, думая, что Тахосер не могла заснуть и ушла подышать предрассветной прохладой.

Тахосер там не было.

„Пойду в сад, — сказала себе Нофрэ, — может быть, ей пришла мысль взглянуть на блеск росы на листьях и видеть пробуждение цветов”.

Но в саду везде было пустынно. Нофрэ заглянула в аллеи, беседки и в крытые переходы, но безуспешно. Она зашла в киоск, Тахосер там не было. Побежала к бассейну, где ее госпожа иногда купалась с подругами; широкие листы лотоса плавали на поверхности воды и, казалось, никем не были тронуты; только утки, купая свои лазурные шеи в спокойной воде, чертили за собой след; радостными криками они приветствовали Нофрэ. Верная служанка начала тревожиться; она приказала разбудить всех в доме, и прислужники, выйдя из своих келий, принялись за самые тщательные розыски; всходили на террасы, заглядывали в каждую комнату, каждый уголок, всюду, где она могла бы быть. В тревоге Нофрэ даже открывала сундуки для одежды, ящики для драгоценностей, как будто там могла находиться ее госпожа.

Очевидно, Тахосер не было в доме.

Одному старому, рассудительному слуге пришла в голову мысль поискать на песке аллей следы ног его молодой госпожи; наклонясь к земле, старый Сухем скоро различил легкие отпечатки подошвы узкой, маленькой ноги. Он пошел по этим следам, которые привели его к пилону двора, у выхода к реке. Задвижки были отодвинуты и половинки дверей соединялись вместе только по своей тяжести; было очевидно, что дочь

Петамунофа исчезла через этот выход.

Далее след терялся. На кирпичной набережной не было никаких отпечатков ног. Лодочник, перевозивший Тахосер, еще не вернулся на место своей стоянки. Другие лодочники спали и ничего не видели. Один только сказал, что бедно одетая женщина, по-видимому, из черни, отправилась рано утром на другой берег, в квартал Мемнониа, вероятно, ради какого-нибудь похоронного обряда.

Эти признаки, которые никоим образом не могли относиться к изысканной Тахосер, окончательно спутали все предположения Нофрэ и Сухема.

Они вернулись в дом печальные и огорченные. Слуги и служанки сели на землю в позах отчаяния, опустив одну руку с ладонью, обращенной к небу, и положив другую на голову, и все воскликнули жалобным хором: „Горе! горе! горе! Госпожа ушла!”

— Клянусь адским псом Омс, я найду ее! — сказал старый Сухем. — Хотя бы мне пришлось проникнуть до глубины западной страны, куда идут в путь умершие! Она была добрая госпожа, давала нам пищу в изобилии, не требовала от нас чрезмерной работы и приказывала нас бить только по справедливости и умеренно. Не была тяжка ее ступня на наших преклоненных выях, и ее раб мог считать себя свободным.

— Горе! горе! — повторяли мужчины и женщины, посыпая себе головы пылью.

— Увы! дорогая госпожа, кто знает где ты теперь? — сказала верная Нофрэ, проливая слезы. — Может быть, волшебник непреодолимым заклинанием вызвал тебя из дворца, чтоб совершить над тобой гнусное колдовство; он свяжет твое прекрасное тело, извлечет из него сердце ножом, как парасхит, бросит твои останки прожорливым крокодилам, и твоя изувеченная душа, в день воссоединения, найдет лишь безобразные клочья тела, и ты не найдешь в глубине подземных переходов изукрашенную и позолоченную мумию твоего отца, великого жреца Петамунофа, в погребальной комнате, высеченной в горе для тебя!

— Успокойся, Нофрэ, — сказал старый Сухем, — не будем отчаиваться преждевременно; быть может, Тахосер скоро вернется в свой дом. Она не устояла против неведомой нам прихоти, но скоро мы увидим ее снова, веселую и смеющуюся, с цветами вод в руках.

Касаясь ресниц краем своей одежды, служанка сделала жест отрицания.

Сухем опустился на землю, сгибая колени наподобие кинокефалов, высекаемых на квадратных базальтовых глыбах, и, сжав виски своими

сухими ладонями, казалось, погрузился в глубокое раздумье.

Его красновато-коричневое лицо, впалые орбиты глаз, выдающиеся челюсти, щеки в глубоких морщинах, волосы, щеткой обрамляющие его маску, — все это дополняло сходство его с этими обезьяноподобными божествами; он не был божеством, но более походил на обезьяну.

Результат его размышлений, тревожно ожидаемый Нофрэ, был таков:

— Дочь Петамунофа объята любовью.

— Кто тебе сказал? — воскликнула Нофрэ, которая считала одну лишь себя способной читать в сердце госпожи.

— Никто. Но Тахосер прекрасна; шестнадцать раз она видела разлив вод Нила. Шестнадцать есть эмблематическое число любовной страсти; в необычные часы она призывала к себе арфисток и флейтисток, как бы желая утишить волнение сердца музыкой.

— Ты говоришь хорошо, и мудрость обитает в твоей старой лысой голове. Но как научился ты проникать в сердце женщины, ты, знающий лишь как копать землю и носить на плече сосуды с водой?

Губы невольника расширились в молчаливой улыбке, открывая два ряда длинных белых зубов, способных разгрызть косточки фиников; эта гримаса означала: „Я не всегда был старым рабом”.

Озаренная убеждением Сухема, Нофрэ подумала тотчас о красивом Ахмосисе, оэрисе фараона, который часто проходил внизу террасы и который был так прекрасен в своей колеснице в день торжественного шествия; она сама любила его безотчетно и приписывала это чувство своей госпоже. Она надела менее легкую одежду и отправилась в жилище офицера; там думала она найти непременно Тахосер.

Молодой оэрис сидел в глубине комнаты на низком кресле. На стенах было развешано разное вооружение: кожаный панцирь с бронзовыми бляхами, с вырезанным на них гербом фараона; медный кинжал с рукоятью, прорезанной для пальцев; боевая секира с кремневым лезвием; каска, украшенная двумя страусовыми перьями, треугольный лук и стрелы с красным оперением; на подставках были разложены почетные нагрудники, а в нескольких открытых сундуках виднелась добыча, взятая у неприятеля.

Увидев на пороге Нофрэ, которую он хорошо знал, он почувствовал сильную радость; его смуглые щеки покраснели, мускулы вздрогнули, сердце затрепетало. Он подумал, что Нофрэ явилась по поручению Тахосер, хотя дочь жреца никогда не отвечала на его взгляды. Но человек, богами одаренный красотой, легко воображает, что все женщины воспламеняются к нему любовью.

Он встал и направился к Нофрэ, которая встревоженным взглядом осматривала все углы комнаты, чтобы удостовериться не здесь ли Тахосер.

— Что привело тебя сюда, Нофрэ? — спросил Ахмосис. — Твоя госпожа, вероятно, здорова, потому что вчера, как мне кажется, я ее видел во время шествия Фараона.

— Здорова ли моя госпожа, ты должен знать лучше всех, потому что она исчезла из дому, не сказав никому о своих намерениях, и я готова поклясться богинею Гатор, что тебе известно избранное ею убежище.

— Она исчезла! Что ты говоришь? — прошептал Ахмосис с неподдельным изумлением.

— Я думала, что она любит тебя, а часто самые скромные девушки делают безумства. Так ее нет здесь?

— Бог Фрэ, всевидящий, знает, где она; но ни один луч его не коснулся ее в моем жилище. Осмотри и обойди все комнаты.

— Я верю тебе, Ахмосис, и удаляюсь: если бы здесь была Тахосер, ты не скрыл бы этого от верной Нофрэ, которая охотно служила бы вашей любви. Ты красив, свободен, богат и девственник; боги благосклонно взглянули бы на ваш союз.

Нофрэ вернулась домой еще более озабоченная и встревоженная, чем раньше; она боялась, чтобы не явилось подозрение, будто слуги убили Тахосер, и чтобы не стали исторгать у них ударами палок признание о том, чего они не знали.

Фараон также думал о Тахосер. Совершив возлияния и жертвы, требуемые обрядами, он сел во внутреннем дворе гинекея и мечтал, не обращая внимания на своих жен, нагих и увешанных цветами, игравших в прозрачной воде бассейна, брызгавших водой, громко и звонко смеявшихся, чтобы привлечь взоры повелителя, который вопреки обычаю не решил, кто будет его избранницей в эту неделю.

Очаровательную картину представляли эти женщины; их гибкие тела блестели в воде, точно изваяния из яшмы, в обрамлении из кустов и цветов, в средине двора, окруженного ярко расписанными колоннами в чистом свете лазурного неба, по которому изредка пролетал ибис, подняв голову и распустив позади себя крылья.

Аменсэ и Твэа устали плавать и, став на колени на краю бассейна, сушили на солнце свои густые черные волосы, которые оттеняли еще более белизну их тел; последние капли воды скатывались с их блестящих плеч и гладких, точно отполированных рук; служанки натирали их эссенциями и ароматными маслами, а молодая эфиопянка давала им нюхать широкую чашечку цветка.

Можно было бы сказать, что ваятель, украсивший барельефами залы гинекея, изобразил эти полные грации группы женщин; но Фараон так же холодно взглянул на них, как на скульптуры стен.

Сидя на спинке кресла, ручная обезьяна грызла финики и щелкала зубами; о ноги повелителя терлась любимая кошка, выгибая дугой спину; уродливый карлик дергал обезьяну за хвост и кошку за усы; их визг и ворчанье обыкновенно разгоняли морщины на челе его величества; но в этот день царь не был склонен к смеху. Он отстранил кошку, прогнал обезьяну со спинки кресла, ударил кулаком карлика по голове и направился к гранитным комнатам.

Все они были сложены из гранитных глыб и запирались дверью из камня, которую не могла бы открыть никакая человеческая сила; надо было знать тайну как их отпереть.

В этих комнатах были заперты сокровища Фараона и добыча, взятая у покоренных народов. Там были слитки драгоценных металлов, золотые и серебряные венцы, нагрудники и браслеты с эмалью, серьги, сияющие как диск бога Муи, ожерелья из семи рядов бус из сердолика, синего камня, красной яшмы, жемчуга, агата, сардоникса и оникса; обручи тонкой работы для ног; пояса с золотыми бляхами, покрытыми иероглифами; кольца со скарабеями; нити золотых рыб, крокодилов, сердец; эмалевые змеи, обвивающиеся много раз вокруг себя; бронзовые вазы и сосуды из алебастра и синего стекла с белыми спиралями; сундучки из эмалированной глины, ящики из сандалового дерева причудливой и фантастической формы, глыбы благовоний из разных стран и черного дерева; тонкие ткани, которые могут пройти через кольцо; белые, черные и разноцветные перья страусов; гигантские слоновые клыки; чаши из золота, серебра и позолоченного стекла; великолепные по достоинству материала и по работе статуэтки.

В каждой комнате Фараон приказывал наполнять носилки, которые за ним несли мощные рабы из племени Куш и Шето, и затем, ударив в ладони, призвал Тимофта, раба, выследившего Тахосер, и сказал ему:

— Вели отнести это Тахосер, дочери Петамунофа, от имени Фараона.

Тимофт стал во главе шествия, переплыл в царской барке Нил, и скоро невольники принесли подарки к дому Тахосер.

— Тахосер от Фараона, — сказал Тимофт, постучав у дверей.

При виде сокровищ Нофрэ почти лишилась чувств и от восхищения, и от страха; она боялась, что царь велит ее умертвить, узнав про исчезновение дочери жреца.

— Тахосер ушла, — ответила она, содрогаясь. — Тимофт, клянусь

четырьмя священными гусями Амсет, Сис, Сумаутс и Кебхснив, летящими по четырем ветрам, я не знаю, где она.

— Фараон, избранник Фрэ, любимец Аммона-Ра, прислал эти подарки; я не могу их унести обратно; оставь их до ее возвращения. Ты мне отвечаешь за них головой, прикажи их запереть в комнатах и охранять верным слугам, — ответил царский посланец.

Когда Тимофт вернулся во дворец и, простершись на земле, прижав локти к бедрам и склонив голову к праху пола, сказал, что Тахосер исчезла, Фараон пришел в великую ярость и с такой силой ударил о пол жезлом, что одна из плит разбилась.

VIII

Тахосер нисколько не помышляла ни о Нофрэ, ни о той тревоге, которую вызовет ее отсутствие. Она совсем забыла и свой красивый дом в Фивах, и своих слуг, и свои наряды, что было мудрено для женщины.

Она не подозревала о любви Фараона и не заметила взгляд, полный сладострастия, брошенный на нее с высоты величия, которое не может быть взволновано ничем земным; а если б она и заметила этот взгляд, то это царственное желание она вместе со всеми цветами своей души бросила бы в дар к ногам Поэри.

Подвигая веретено вверх нити, — ей поручили ткацкую работу — она следила, искоса, за всеми движениями молодого еврея, лаская его взглядом, — она молча наслаждалась счастьем быть к нему близко в павильоне, куда он разрешил ей входить. Если бы Поэри обратился к ней, то был бы поражен влажным блеском ее глаз, внезапным румянцем, покрывавшим розовым облаком ее прекрасные щеки, и сильным биением ее сердца в трепещущей груди. Но, сидя за столиком и склонившись над папирусом, Поэри писал на папирусе демотические цифры, обмакивая тростник в чернила в выдолбленной алебастровой дощечке.

Понял ли Поэри столь очевидную любовь к нему Тахосер? Или же по какой-то скрытой причине он не показывал вида? Его обращение с ней было кроткое, благосклонное, но сдержанное, как будто он хотел предупредить или отстранить какое-нибудь нежелательное признание, на которое ему было бы нужно дать ответ. Но она была прекрасна; в бедных одеждах ее очарование было еще сильнее, и подобно тому, как в жаркие часы дня над сияющей землей трепещет светлая дымка, вокруг нее волновалась атмосфера любви. На ее полуоткрытых губах трепетала страсть, подобно птице, готовой улететь; и тихо, совсем тихо, когда она была уверена, что ее не слышат, она повторяла, как однообразную песнь: „Поэри, я тебя люблю”.

В то время была жатва, и Поэри вышел из дому, чтоб наблюдать за работой. Тахосер, которая не могла от него оторваться, как тень от человека, робко последовала за ним, опасаясь, что он прикажет ей оставаться в доме, но он сказал ей без всяких признаков гнева:

— Горе смягчается при виде мирных земледельческих работ, и если какое-либо горькое воспоминание об утраченном благополучии давит твою душу, то оно рассеется пред этой радостной работой. Все это, должно быть,

ново для тебя; потому что твоя кожа, не тронутая поцелуями солнца, твои нежные ноги, твои тонкие руки, изящество, с каким ты окутываешься кусками грубой ткани, служащей тебе одеждой, все это говорит мне, что ты всегда жила в городах среди изысканной роскоши. Итак, иди и сядь с твоим веретеном в тени этого дерева, на котором жнецы повесили, чтобы охладить, сосуд с их питьем.

И Тахосер села под деревом, обхватив руками пилюнга и опустив подбородок на колено.

От стены сада равнина простиралась вплоть до первых скатов Ливийской цепи гор, точно желтое море, на котором малейшее дыхание ветра чертило золотые борозды. В ослепительном свете солнца золотой цвет нивки белел местами и принимал оттенки серебра. На плодородном иле Нила стебли пшеницы поднялись сильные и высокие, как дротики, и редко такая пышная жатва расстилалась под солнцем, пылающая и трепещущая в дневной жаре; тут было чем наполнить доверху ряд житниц, покрытых сводами и протянувшихся возле кладовых.

Работники были уже давно за делом, и вдали из волн нивы поднимались их головы, с густыми волосами или бритые, обернутые клочками белой ткани, и их нагие торсы цвета обожженной глины. Они наклонялись и поднимались однообразным движением, срезая колосья серпами с такой равномерностью, точно они это делали по нитке.

Вслед за ними шли люди с сетями, в которые они складывали срезанные колосья и которые сносили на плече или подвесив на перекладине при помощи товарищей к жерновам, расположенным в некотором расстоянии один от другого.

По временам, жнецы, тяжело дыша, останавливались, переводили дух и, положив серп под правую руку, выпивали чашу воды, потом поспешно принимались снова за работу, опасаясь палки надсмотрщика. Срезанные колосья собирались вилами в равномерные кучки, которые дополнялись из новых корзин.

Поэри знаком приказал подвести быков. Это были великолепные животные с широко раздвинутыми рогами, с сухими и нервными ногами. Клеймо поместья, наложенное раскаленным железом, виднелось на их ногах. Они шли важно, под ярмом, соединявшим по четыре головы вместе.

Их отвели на гумно; подгоняемые ударами двойных кнутов, они стали равномерно топтать ногами колосья, и под их копытами сыпались зерна; солнце блестело на их шерсти; поднятая ими пыль поднималась к их ноздрям, и поэтому, пройдя кругов двадцать, они начинали опираться друг о друга и, несмотря на свист ремней, бивших их бока, заметно замедляли

шаг. Чтобы их оживить, вожак, державший за хвост ближайшего к нему быка, запел в быстром и веселом темпе старую песню: „Идите для себя быки! О, быки, идите! Награда будет вам и награда вашим господам”.

И упряжка быков, оживляясь, двигалась вперед и исчезала в облаке светлой пыли, в которой блестели золотые искры.

Когда работа быков была кончена, пришли рабочие и деревянными вилами подбрасывали хлеб в воздух, чтоб отделить зерно от соломы и усиков.

Очищенное зерно ссыпалось в мешки, которые записывал писец, и относились в житницы, к которым вели лестницы.

Тахосер в тени дерева любовалась этой оживленной и величественной картиной и часто ее рассеянная рука забывала нить. День склонялся к концу, и уже солнце, поднявшееся из-за Фив, перешло Нил и направилось к Ливийской цепи гор, за которой скрывается каждый вечер его диск. Наступил час, когда животные возвращаются с полей. Тахосер рядом с Поэри присутствовала при этом большом пастушеском шествии.

Сперва прошло большое стадо быков, белых, рыжих и черных со светлыми пятнами. Рядом с ними шли их сторожа с кнутами и веревками. Пред Поэри они склоняли колена и, протянув руки по бокам, касались лбом земли в знак почтения. Писцы записывали на дощечках число голов скота.

За быками следовали ослы, подгоняемые палками вожаков, потрясая длинными ушами и стуча копытами о землю. Вожаки совершили такое же коленопреклонение, а писцы отметили число животных.

Затем прошли козы, предшествуемые козлами, с радостным блеяньем. Они были сосчитаны так же, как быки и ослы, и с тем же церемониалом пастухи склонились у ног Поэри.

Шествие замыкали гуси, утомленные дорогой, покачиваясь на своих широких лапах и хлопая крыльями. Их число было записано и таблицы вручены управляющему имением.

Долго после ухода животных пыль, которую не мог прогнать ветер, поднималась медленно в небе.

— Итак, Хора, — обратился Поэри к Тахосер, — вид жнецов и стад развлек тебя? Это сельские удовольствия; у нас нет, как в Фивах, арфистов и танцовщиц. Но земледелие свято; оно есть мать и кормилица человека, и сеющий зерно угоден богам. А теперь иди принять пищу вместе с твоими подругами, а я вернусь в дом, чтобы сосчитать, сколько мер пшеницы дали колосья.

Тахосер коснулась земли одной рукой, а другую положила на голову в знак почтительного согласия и удалилась.

В столовой смеялись и болтали несколько молодых служанок и ели свежий лук и пирожки из фиников при свете зажженного фитиля, опущенного в небольшой сосуд с маслом; уже наступила ночь, и желтый свет пламени падал на их смуглые щеки и рыжеватые тела, не покрытые никакой одеждой. Одни из них сидели на простых деревянных сиденьях, другие опирались о стену спиной, поджав под себя ногу.

— Куда же уходит каждый вечер наш господин? — спросила с лукавым видом молодая девушка, очищая гранат красивыми обезьяньими движениями.

— Господин уходит, куда желает, — ответила высокая служанка, — или он должен отдавать тебе отчет? Не ты, во всяком случае, могла бы его удержать здесь.

— Так же, как и всякая другая, — ответила обиженная девочка.

Высокая служанка пожала плечами:

— Даже это не удалось бы Хоре, которая белее и красивее нас всех. Хотя наш господин носит египетское имя и на службе Фараона, но он принадлежит к варварскому племени Израиля. И если он уходит ночью, то, без сомнения, чтобы присутствовать при жертвоприношениях детей, совершаемых евреями в пустынных местах, где кричит сова, воет гиена, свистит змея.

Тахосер тихо ушла из комнаты, не говоря ни слова, и спряталась в саду за кустом мимозы; после двух часов ожидания она увидела, как Поэри вышел в поле.

Легкая и безмолвная, как тень, она стала за ним следить.

IX

Поэри, с тяжелой пальмовой палкой в руке, направился к реке по узкой возвышенной дороге через поле папирусов, стебли которых, покрытые листьями у корня высотою в шесть и восемь локтей с пучком фибр на вершине, походили на целый лес копий войска, готового к битве.

Сдерживая дыхание, едва касаясь земли ногой, Тахосер пошла следом по этой узкой дороге. Луна не светила в эту ночь, и к тому же густые заросли папируса скрывали девушку, следовавшую в некотором отдалении.

Чтобы пройти через открытое место, она, дав уйти вперед Поэри, согнулась, съежилась и ползком пробралась по земле.

Затем началась роща мимоз и, скрываясь среди пышных деревьев, Тахосер смогла свободно следовать за Поэри, без особых предосторожностей. Опасаясь потерять его в темноте, она была так близка к нему, что часто ветви, которые он отстранял на ходу, задевали ее лицо, но она не обращала на это внимание: жгучее чувство ревности побуждало ее открыть тайну, которую она представляла себе не так, как служанки дома. Ни одной минуты она не предполагала, что молодой еврей уходит каждый вечер совершать какой-нибудь гнусный варварский обряд; она думала, что женщина служит причиной этих ночных исчезновений, и хотела узнать, кто ее соперница. Холодная благосклонность Поэри говорила ей, что его сердце занято; иначе как бы остался он равнодушным к прославленной в Фивах и во всем Египте красоте? Или почему он делал вид, что не замечает любовь, которой бы гордились оэрисы, великие жрецы, царские писцы и даже князья царского рода?

Придя к берегу реки, Поэри спустился по нескольким ступеням, вырубленным в прибрежных камнях, и наклонился, как бы что-то развязывая.

Тахосер, лежа на вершине берегового откоса, увидела с отчаянием, что загадочный путник отвязывает легкий челнок из папируса, узкий и длинный, как рыба, и собирается переплыть реку.

Он вскочил в лодку, оттолкнул ее ногой от берега и выплыл на реку, управляя единственным веслом, укрепленным в кормовой части хрупкой ладьи.

Тахосер в горести ломала руки: она потеряет следы той тайны, которую она так жаждет знать. Что делать? Вернуться обратно с муками подозрений и неведения в душе, с худшим из зол? Она призвала на помощь

все свое мужество, и скоро решение было принято. Нечего было и думать искать другую лодку. Она спустилась с откоса, сняла быстро с себя одежду и обернула ее вокруг головы; потом храбро бросилась в реку, стараясь не поднимать на ней брызги пены. Гибкая, как водяная змейка, она протянула вперед руки в темных волнах, в которых трепетали расширенные отражения звезд, и издали поплыла вслед за лодкой. Она прекрасно плавала, так как ежедневно упражнялась в этом вместе со своими женщинами в обширном бассейне своего дворца, и никто из них не мог так ловко рассекать волну, как Тахосер.

Уснувший у берега поток оказывал ей только слабое сопротивление; но на средине реки ей пришлось усиленно работать ногами и руками, чтобы не быть унесенной течением. Ее дыхание становилось прерывистым и она сдерживала его из опасения, чтоб ее не услышал Поэри. Иногда высокая волна омывала пеной ее полуоткрытые губы и даже достигала до ее одежды, обернутой вокруг головы; ее силы ослабевали, но, к счастью для нее, она скоро выплыла в более спокойную полосу реки. Связка тростника, плывшая по реке коснулась ее плеча и вызвала в ней ужас. Эта темно-зеленая масса в темноте имела очертания спины крокодила; Тахосер уже казалось, что чешуйчатая кожа чудовища касается ее; но она победила свой страх и подумала, продолжая плыть: „Пусть меня растерзают крокодилы! Поэри меня не любит”.

Опасность была велика, особенно ночью; днем постоянное движение лодок, работа на набережных, шум города отгоняют крокодилов, и они удаляются к берегам, менее посещаемым людьми, чтобы лежать в тине и греться на солнце; но с темнотой ночи к ним возвращается их дерзость.

Тахосер об этом не думала; любовь не соображает. А если бы ей пришла мысль об этой опасности, то она пренебрегла бы ею, несмотря на свою робость. Внезапно лодка остановилась, хотя берег еще был не близко. Поэри прервал свою работу веслом и осматривался с некоторым беспокойством: он заметил на воде беловатое пятно: свернутую одежду Тахосер.

Считая себя узнанной, она храбро скрылась под водой, решившись вынырнуть на поверхность только тогда, когда рассеется подозрение Поэри.

„Мне почудилось, будто за мною кто-то плывет, — подумал Поэри, снова принимаясь грести. — Но кто же в этот час отважится плыть через Нил? За человеческую голову, обернутую белым, я принял цветы лотоса или, может быть, пену; и вот уже ничего больше не видно”.

Когда Тахосер, перед глазами которой уже мелькали красные круги в

темной воде реки, поднялась на поверхность, чтобы освежить легкие свежим дыханием воздуха, — лодка уже спокойно продолжала свой путь и Поэри управлял веслом с тем же равнодушием, как и аллегорические фигуры, управляющие баркой Маут на барельефах и картинах храмов.

Берег теперь был совсем близко. Гигантская тень пилонов и громадных стен Северного дворца, увенчанная группами обелисков, возвышавшихся в фиолетово-голубом ночном небе, широко и грозно раскинулась над рекой и скрыла Тахосер, которая могла теперь плыть, не опасаясь быть замеченной.

Поэри причалил к берегу несколько ниже дворца по течению Нила и привязал лодку к столбу таким образом, чтобы найти ее при возвращении, потом взял свою пальмовую палку и поднялся по скату набережной быстрым шагом.

Тахосер, почти теряя силы, схватилась утомленными руками за первую ступень лестницы и с трудом вышла из воды, — капли струились с ее членов, которые на воздухе сразу отяжелели и внезапно почувствовали усталость; но самое главное в ее намерении было достигнуто.

Она поднялась по ступеням, одну руку положив на сердце, которое жестоко билось, а другой придерживая на голове свою мокрую одежду. Заметив направление, по которому пошел Поэри, она села на вершине ската, развернула тунику и одела ее на себя. Прикосновение мокрой ткани вызвало в ней легкий трепет; хотя ночь была тепла и южный ветерок мягко дышал, она чувствовала лихорадочную дрожь и ее маленькие зубы стучали. Она призвала к себе на помощь свою энергию и, пробираясь у подошвы гигантских стен, не теряла из виду юношу, который свернул за угол высокой кирпичной ограды дворца и направился в улицы Фив.

После непродолжительной ходьбы, он миновал дворцы, храмы и богатые дома, и за ними начались более скромные жилища: сырой кирпич и ил, смешанный с соломой. Архитектурные очертания исчезли; низкие округленные жилища поднимались наподобие кубышек среди пустырей и бесплодных пространств, принимая в ночном сумраке очертания чудовищ; обломки дерева, разбитые кирпичи в кучах загромождали дорогу. Среди тишины раздавались странные, тревожные звуки; сова рассекала воздух немым крылом; тощие собаки, подняв острые морды, лаяли на пролетавших летучих мышей; жуки и пресмыкающиеся в страхе скрывались среди шелеста сухой травы.

„Ужели Харфрэ сказала правду? — думала Тахосер, взволнованная мрачным видом местности. — Ужели Поэри идет приносить в жертву ребенка этим варварским богам, которые любят кровь и страданье? Вот

место, пристойное для жестоких обрядов”.

И все же, скрываясь в уголках тени, за краем стены, за кустами, за неровностями почвы, она следовала на некотором расстоянии за Поэри.

„Если я буду невидимой свидетельницей какого-нибудь дела, ужасного, как страшный сон, услышу крики жертвы и увижу, как заклатель обагренными руками вырвет дымящееся сердце из маленького детского тела, то я не остановлюсь ни перед чем”, — сказала себе мысленно Тахосер, увидев, что молодой еврей вошел в земляную хижину, из щелей которой струились слабые лучи желтого света.

Когда Поэри вошел, дочь великого жреца приблизилась неслышно, как тень, так что ни один камешек не захрустел под ее ногами и ни одна собака не отозвалась на ее приближение; она обошла хижину и заметила щель, достаточно широкую, чтобы можно было бросить взгляд внутрь жилья.

Маленькая лампа освещала комнату, менее бедную, чем можно было судить по наружному виду дома; стены блестели, как оштукатуренные. На деревянных подставках, раскрашенных в разные цвета, стояли золотые и серебряные сосуды; драгоценные украшения блестели в полураскрытых сундуках. Блюда из блестящего металла сверкали на стене и букет редких цветов в вазе из эмалированной глины стоял на маленьком столе.

Но не эти подробности обстановки и контраст между скрытой роскошью и внешней бедностью жилища занимали Тахосер; ее внимание было привлечено другим.

На возвышении, покрытом циновками, сидела женщина неведомого племени, дивной красоты. Она была белее всех дочерей Египта, бела как лилия, как ягнята, выходящие из воды; брови округлялись, как две дуги черного дерева, и их концы сходились у тонкого орлиного носа с розовыми, подобно раковине, ноздрями. Глаза ее походили на глаза горлицы, живые и в то же время томные; пурпурные губы, открываясь, обнаруживали сверкающие жемчужины зубов; обрамляя щеки, алые, как гранаты, спускались пышные пряди черных и блестящих волос; серьги вздрагивали в ее ушах, а золотые ожерелья с покрытыми инкрустациями пластинками блестели на ее шее, круглой и гладкой, как алебастровая колонна.

Она была одета в шитую тунику, вышитую зигзагами и симметричными рисунками различных цветов, падавшую складками от плеч до пят и оставлявшую открытыми руки.

Поэри сел рядом с ней на циновку и повел беседу, из которой Тахосер не поняла ни слова, но угадывала ее смысл; Поэри и Рахиль говорили на языке родины, отрадном для изгнанников.

Надежда не легко исчезает в любящем сердце. „Может быть, это его

сестра, — подумала Тахосер, — и он посещает ее втайне, не желая, чтобы знали, что он принадлежит к этому племени, обращенному в рабство”.

Потом она приближала лицо к щели и слушала с горестной настойчивостью благозвучные слова, заключавшие в себе тайну, за распознание которой она отдала бы жизнь; а эти слова долетали до нее смутные, летучие, лишенные значения для ее слуха, подобные ветру в листве и песку воды у берега.

„Она слишком красива… для сестры…” — подумала Тахосер, пожирая ревнивыми взглядами это своеобразное и очаровательное лицо, бледное с алыми губами, в котором была какая-то таинственно роковая красота.

— О, Рахиль! О, моя возлюбленная Рахиль!.. — часто повторял Поэри.

Тахосер вспомнила, что слышала эти слова, произнесенные им во сне, когда она убаюкивала его своим пением и обвевала опахалом.

„Он думает о ней даже во сне… Рахиль ее имя, без сомнения…” — и бедная Тахосер почувствовала в груди острую боль, как будто все урэусы и все змеи царских корон вонзили свои ядовитые клыки в ее сердце.

Рахиль склонила голову на плечо Поэри, точно цветок, переполненный благовонием и любовью; губы юноши касались волос красавицы, которая медленно откинула голову назад, отдавая свой лоб и полузакрытые глаза его робкой и молящей ласке; их руки искали и нервно сжали друг друга.

„О, зачем я не застала его во время какого-нибудь нечестивого и чудовищного обряда убивающим человеческую жертву, пьющим кровь из черной чаши, натирающим себе кровью лицо! Это причинило бы мне меньше страдания, чем вид этой женщины, которую он робко обнимает”, — тихо шептала Тахосер, опускаясь на землю в тени хижины.

Два раза она пыталась подняться, но снова опустилась на колени; туман заволок ее глаза; тело трепетало, она упала без чувств.

В это время Поэри уходил из хижины и, прощаясь, целовал Рахиль.

X

Фараон, встревоженный и взбешенный исчезновением Тахосер, уступил той потребности движения, которая волнует сердца, мучимые неудовлетворенным желанием. К великому огорчению Аменсэ, Хонт-Решэ и Твэа, его любимиц, пытавшихся всеми средствами кокетства удержать его в летнем павильоне, он поселился в Зимнем дворце, на другом берегу Нила. Его мрачное раздумье раздражали его жены со своей болтовней. Все, что не касалось Тахосер, не нравилось ему; он находил безобразными красавиц, которые еще недавно казались ему очаровательными. Их юные, гибкие и грациозные тела и позы, полные сладострастия; удлиненные глаза, обведенные чертой антимония, горящие желаньем; пурпурные губы и белые зубки, и томные улыбки — все в них, даже тонкий аромат, исходивший от их молодых тел, как от цветка или ларца с благовониями, все стало ему ненавистно, невыносимо; казалось, он гневался на них за то, что их любил, и теперь не понимал, как мог обращать внимание на такие обыденные красоты. Когда Твэа клала ему на грудь свои тонкие и розовые пальцы, как бы желая воскресить воспоминания о прежней близости, когда Хонт-Решэ подвигала к нему шахматную доску, поддерживаемую двумя склоненными фигурами львов, когда Аменсэ подносила ему цветок с почтительной и умоляющей грацией, он с трудом сдерживал себя, чтоб не ударить их железом, и его ястребиные очи метали такие молнии презрения, что его бедные жены, отважившиеся на такую смелость, отходили молча со слезами на ресницах и молча прислонялись к расписной стене, как бы стараясь в своей неподвижности слиться с изображениями фресок.

Чтоб избежать сцены слез и насилия, он удалился во дворец, один, молчаливый и мрачный, и там, вместо того чтобы сидеть на троне в торжественной позе богов, которые не движутся и не делают жестов, он взволнованно бродил по громадным залам.

Странно было видеть, как Фараон, высокий, внушительный, страшный, как гранитные колоссы, ступает своими сандалиями с загнутыми носками по звонким широким плитам.

На его пути устрашенные стражи застывали, неподвижные, как изваяние, и даже страусовые перья на их шлемах не колебались. Когда он уходил от них далеко, они едва осмеливались сказать:

— Что сталось с Фараоном? Если бы он вернулся из похода побежденным, то не был бы мрачнее и суровей…

Если бы он не одержал десять побед, не убил двадцать тысяч врагов, не привел двух тысяч дев, избранных среди самых красивых, не привез ста повозок с золотым песком, тысячу повозок с черным деревом и слоновой костью, не считая редкостных предметов и неизвестных Египту животных, а напротив того, видел бы свою армию изрубленной в куски, колесницы разбитыми и опрокинутыми и спасся бы один обходным путем под тучей стрел, запыленный, окровавленный, взяв вожжи из рук убитого возницы, то и тогда лицо Фараона не было бы более мрачно и полно отчаяния. Ведь земля египетская может дать много солдат; несчастье может быть возмещено! Но пожелать нечто и не видеть немедленного исполнения желания, встретить преграду между своей волей и осуществлением ее, бросить, как дротик, свое желание, которое не достигло своей цели, — вот что изумляло Фараона в высших сферах его всемогущества. На миг он подумал, что он только человек!

И он бродил по широким дворам, по аллеям гигантских колонн, проходил под безмерно высокими пилонами мимо обелисков, летящих к небу, и колоссов, которые смотрели на него своими изумленными глазами, через высокую залу ипостиля и терялся в гранитном лесу ста шестидесяти двух колонн, высоких и мощных, как башни. Изображения богов, царей и символических существ, казалось, устремляли со стен на него взгляд своих глаз, начертанных в профиль черными чертами, урэусы извивались, надувая зоб, божества с головами ибисов вытягивали шею, от дисков на карнизах отделялись их каменные крылья и трепетали. Как будто необычайная жизнь оживляла эти странные изображения, наполняя прозрачной жизненностью уединение громадной залы, занимающей пространство целого дворца, божества, предки, фантастические существа среди своей вечной неподвижности были изумлены, видя, что Фараон, обычно спокойный, подобно им, ходит взад и вперед, как будто его члены из плоти и крови, а не из порфира и базальта.

Утомленный блужданием по этому чудовищному лесу колонн, поддерживающих гранитное небо, подобный льву, который ищет след своей добычи на подвижном песке пустыни, Фараон взошел на одну из террас дворца, лег на низком ложе и велел позвать Тимофта.

Появился Тимофт и с нижней ступени лестницы поднялся к Фараону, простираясь на каждом шагу. Он страшился гнева повелителя, на милость которого он одно время надеялся. Ловкость, с которой он отыскал жилище Тахосер, извинит ли ту преступную вину, что он потерял следы прекрасной девы?

Подняв одно колено и склонив другое, Тимофт простер к царю руки с

мольбой:

— О царь! не умерщвляй меня и не приказывай бить меня безмерно; прекрасная Тахосер, дочь Петамунофа, на которую твой взор благоволил опуститься, как ястреб на голубицу, отыщется без сомнения, и когда, вернувшись в свой дом, она увидит твои великолепные дары, то ее сердце будет тронуто и она по своей воле придет, чтобы среди женщин твоего гинекея занять то место, которое ты ей укажешь.

— Допрашивал ли ты ее служанок и ее рабов? — сказал Фараон. — Палка развязывает языки, самые непокорные, и муки заставляют сказать то, что хотели бы скрыть.

— Нофрэ и Сухем, ее любимая служанка и старейший из ее слуг, заметили, что засовы садовой двери были отодвинуты и, вероятно, их госпожа скрылась через этот ход. Дверь выходит на реку, а вода не хранит на себе следы лодок.

— Что сказали лодочники на Ниле?

— Они ничего не видели; один из них сказал, что бедно одетая женщина перебралась на другой берег на рассвете. Но то не могла быть прекрасная и богатая Тахосер, которую ты сам видел и которая ходит в драгоценных одеждах, как царица.

Рассуждения Тимофта, по-видимому, не убедили Фараона; он оперся подбородком на руку и размышлял некоторое время. Тимофт ждал молча, опасаясь какого-нибудь проявления ярости. Губы царя шевелились, как будто он говорил с самим с собой: „Эта смиренная одежда скрыла ее… Да, это так… Переодетая, она перебралась на другой берег реки… Тимофт глупец, без всякой проницательности. Я готов бросить его крокодилам или велеть осыпать ударами… Но зачем? Высокого рода девушка, дочь великого жреца, исчезла тайком из своего дворца, не сказав никому о своем намерении!.. Быть может, любовь скрыта в глубине этой тайны…”

При этой мысли лицо Фараона покраснело, как над отблеском пожара; вся кровь поднялась от сердца к лицу; краснота сменилась бледностью, брови изогнулись, как змеи диадемы, рот судорожно сжался, зубы заскрежетали, и его вид стал так ужасен, что Тимофт в страхе упал лицом на плиты, как падает мертвый.

Но Фараон успокоился; его лицо снова приняло выражение величественное, ясное и утомленное, и видя, что Тимофт не поднимается, он презрительно толкнул его ногой.

Тимофт уже видел себя мертвым, простертым на погребальном ложе с ножками наподобие ног шакала в квартале Мемнониа с разрезанным животом и без внутренностей, приготовленным к принятию ванны из

раствора соли; он приподнялся, не смея поднять глаза к повелителю, и остался на коленях в мучительной тревоге.

— Слушай, Тимофт, — сказал царь, — встань, беги, пошли людей во все стороны, обыщи храмы, дворцы, дома, виллы, сады, даже самые скромные хижины и отыщи Тахосер. Пошли колесницы на все дороги, лодки по всем направлениям по Нилу; иди сам и спрашивай встречных, не видели ли они женщину, подобную описанной тебе; нарушь покой могил, если она скрылась в приюте смерти, в глубине какого-нибудь подземелья; ищи ее, как Изида искала своего супруга, растерзанного Тифоном, и приведи ее, живую или мертвую, или же, клянусь змеем моего венца и цветком лотоса моего скипетра, ты погибнешь в ужасных мучениях.

Тимофт кинулся с быстротой ибиса, чтоб исполнить веление Фараона, который с ясным снова взором принял позу величавого спокойствия, какую ваятели придают колоссам, сидящим у врат храмов и дворцов, и спокойно, как подобает тому, чьи сандалии, разукрашенные изображениями связанных за локти пленников, попирают народы, стал ждать.

Глухой гром прозвучал вокруг дворца, и, если б небо не было ясно, как лазурь, можно было бы подумать, что начинается гроза: то был шум колесниц, пущенных вскачь во все стороны: их вращающиеся, как вихрь, колеса гремели на земле.

Скоро Фараон с высоты своей террасы мог увидеть, как лодки рассекают воды реки под усилиями гребцов и посланцы стремятся по другому берегу реки.

Цепь Ливийских гор, розоватых с сапфировыми тенями, замыкала горизонт, как фон гигантских сооружений Рамзесов, Аменофа и Менефты; пилоны с расширяющимися книзу углами, стены с широкими карнизами, колоссы с опущенными на колени руками обрисовывались, позлащенные солнечным лучом, и даль расстояния не умаляла их величия. Но не на гордые сооружения смотрел Фараон. Среди кущ пальмовых деревьев и обработанных полей виднелись местами расписанные дома и киоски, как цветные пятна на живой залежи растительности. Под одной из этих крыш, под одной из этих террас скрывалась, без сомнения, Тахосер, и он хотел бы волшебством поднять их или сделать прозрачными.

Часы шли за часами; солнце уже исчезло за горами, бросая последние огни на Фивы, а посланцы не возвращались. Фараон оставался в той же неподвижности. Ночь простерлась над городом, спокойная, свежая, голубая; звезды начали мерцать, и их длинные золотые ресницы дрожали в глубокой лазури; а на краю террасы черный силуэт безмолвного бесстрастного Фараона вырезался подобно базальтовому изваянию на

пьедестале. Много раз ночные птицы летали над его головой, чтобы сесть на нее, но, испуганные его медленным и глубоким дыханием, улетали с биением крыльев.

На высоте царь господствовал над своим городом, раскинувшимся у его ног. Из недр голубоватого сумрака поднимались обелиски с острыми вершинами, пилоны, гигантские ворота, пронизанные лучами, высокие карнизы, колоссы, восстающие до плеч из хаоса сооружений, портики, колонны с капителями, подобными гигантским распускающимся гранитным цветам, углы храмов и дворцов, окаймленные серебряным светом; священные бассейны сверкали как полированный металл; сфинксы и криосфинксы рядами вытягивали перед собой лапы, и крыши домов шли одни за другими без конца, белея в лунном свете массами, пересеченными глубокими площадями и улицами; красные точки вырезались на голубой тьме, как будто звезды уронили на землю искры: огни ламп еще бодрствовали в уснувшем городе. Дальше между домов, менее стесненных, смутные вершины пальм колебались, как опахала из листьев; в глубокой дали очертания и формы терялись в туманной необъятности, и даже глаз орла не мог бы уловить пределы Фив, а по другую сторону старый Хопи-Му величественно спускался к морю.

Царствуя взором и мыслью над этим беспредельным городом, его неограниченный повелитель, Фараон, с грустью думал о пределах человеческой власти, и его желание, подобно голодному коршуну, терзало его сердце. Он думал:

„Во всех домах живут люди, которых один вид мой склоняет во прах и для которых моя воля есть повеление богов. Когда я проезжаю в моей золотой колеснице или меня в носилках несут оэрисы, грудь дев трепещет и они провожают меня долгим робким взглядом; жрецы кадят передо мной благовониями амширов; народ машет пальмовыми листьями или бросает на моем пути цветы; свист моей стрелы повергает в содрогание народы, и стен пилонов, громадных, как скалы, едва достаточно, чтоб написать на них мои победы; каменоломни опустошаются для того, чтоб высечь из гранита мои изваяния. И вот в моей высшей пресыщенности я возымел одно лишь желание, и это желание я не могу исполнить! Тимофт не возвращается; он, без сомнения, не нашел. О, Тахосер, Тахосер! Сколько счастья ты должна мне дать за это ожидание.

А между тем посланцы с Тимофтом во главе обходили дома, проходили по дорогам, расспрашивали о дочери жреца, описывая ее встречным путникам. Но никто не мог ничего им сказать.

Первый вестник появился на террасе и возвестил Фараону, что

Тахосер не найдена.

Фараон простер свой жезл; вестник упал мертвым, несмотря на сказочную крепость черепа египтян.

Предстал второй: он коснулся ногой трупа своего товарища на плитах; он задрожал, видя, что Фараон в гневе.

— А Тахосер? — спросил Фараон, не изменяя положения.

— О, величество! Ее след потерян, — ответил несчастный, склонив колена в тени пред этой тенью, которая походила скорей на изваяние Озириса, чем на живого царя.

Каменная рука отделилась от неподвижного стана, и металлический жезл опустился, как молния. Второй вестник упал рядом с первым.

Третьего постигла та же участь.

От дома к дому Тимофт пришел к жилищу Поэри, который, по возвращении из ночной отлучки, был удивлен, утром не видя женщину, именуемую Хорой. Харфрэ и другие служанки, накануне ужинавшие с ней, не знали, что ней сталось; ее комната была пуста; тщетно ее искали в садах, кладовых и житницах.

На вопрос Тимофта, Поэри ответил, что действительно молодая девушка пришла к дверям дома и, как несчастная, на коленях просила о гостеприимстве, что он принял ее благосклонно, предложил ей кров и пропитание, но она таинственно исчезла, по причине ему неизвестной. Каким путем она направилась? Он этого не знает. Без сомнения, отдохнув в его доме, она продолжала путь к неведомой ему цели. Она была красива и печальна, одета в простую ткань и, по-видимому, бедна; имя Хоры, которым она назвалась, не скрывало ли имя Тахосер? Он предоставил решение этого вопроса проницательности Тимофта.

С этими сведениями возвратился Тимофт во дворец и, держась в отдалении от жезла Фараона, рассказал ему, что знал.

„Зачем пришла она к Поэри? — подумал Фараон. — Если под именем Хоры скрывается Тахосер, то она любит Поэри. Нет. Потому что она не убежала бы после того, как он принял ее под свой кров. О, я ее найду, хотя бы для этого я был должен потрясти весь Египет от водопадов до дельты Нила!..”

XI

Рахиль, которая на пороге хижины смотрела вслед Поэри, услышала, как ей показалось, слабый стон; она прислушалась. Собаки лаяли на луну, сова издавала свой мрачный крик, крокодилы кричали в тростниках реки, подражая детскому жалобному плачу. Юная израильтянка хотела уже войти в жилище, когда ее слух поразил более отчетливый стон, не похожий на смутные жалобные звуки ночи и, наверное, исходящий из человеческой груди.

Она осторожно, опасаясь какой-нибудь западни, подошла к тому месту, откуда слышался стон, и у стены хижины в голубоватом и прозрачном сумраке она заметила нечто похожее на человеческое тело, лежащее на земле; мокрая одежда Хоры облегала формы и обнаруживала ее пол. Рахиль, видя перед собой только женщину, потерявшую сознание, перестала бояться и склонилась над ней, прислушиваясь к ее дыханию и биению сердца. Дыхание угасало на бледных губах, биение сердца едва волновало похолодевшую грудь. Почувствовав влажность одежды, Рахиль подумала, что это кровь и что перед ней жертва какого-нибудь убийцы; чтоб оказать ей помощь, она позвала свою служанку Тамар, и вдвоем они перенесли Тахосер в хижину.

Там они положили ее на ложе; Тамар держала высоко лампу, а Рахиль, наклонившись, искала рану; но никакой багровой черты не было на матовой белизне тела Тахосер и на одежде не было ни одного красного пятна; они сняли с нее мокрую одежду и набросили на нее шерстяную полосатую ткань, теплота которой скоро возвратила ей прерванное течение жизни. Тахосер медленно открыла глаза и обвела вокруг испуганным взглядом, как пойманная газель.

Она не тотчас могла восстановить прерванную нить мыслей. Не могла еще понять, каким образом она находится в этой комнате, на этом ложе, где только что она видела Поэри рядом с израильтянкой рука об руку, в любовной беседе, в то время как она сама, задыхаясь в отчаянии, смотрела сквозь щель стены. Но скоро к ней вернулись память и сознание.

Свет падал на лицо Рахили, и Тахосер молча рассматривала ее с горестью, находила ее слишком прекрасной. Тщетно, с женской ревностью она искала какого-нибудь недостатка, она не почувствовала себя побежденной, но встретила равную себе красавицу; Рахиль была идеалом еврейской красоты, как Тахосер — египетской. С сердечной болью она

должна была признать страсть Поэри справедливой и основательной. Глаза Рахили с длинными ресницами, тонко очерченный нос, алый ротик со сверкающей улыбкой, изящный продолговатый овал лица, сильные у плеч руки с нежными, почти детскими пальцами, округленная полная шея — все в наружности еврейки, в ее своеобразном наряде должно было несомненно нравиться.

XII

„Я сделала большую ошибку, — думала Тахосер, — я предстала пред Поэри в смиренном виде просительницы, слишком доверяя своей красоте, прославленной льстецами, безумная! Я поступила, как воин, который ушел бы в сражение без панциря и меча. Если бы я явилась вооруженная всем моим великолепием, в моей золотой колеснице в сопровождении многочисленных невольников, быть может, я бы тронула его тщеславие, если не чувство любви”.

— Как ты чувствуешь себя? — спросила Рахиль на египетском языке Тахосер; по чертам лица и по мелким косам волос она в ней признала не израильтянку.

Сочувственный и нежный звук голоса и чужестранный выговор делали Рахиль еще более привлекательной. И Тахосер, против воли, была тронута и ответила:

— Мне лучше; твои добрые заботы скоро исцелили меня.

— Не утомляй себя разговором, — сказала израильтянка, закрывая рукой губы Тахосер. — Постарайся уснуть, чтобы восстановить силы. Тамар и я, мы будем охранять твой сон.

Все волнения, переправа вплавь через Нил, долгая ходьба по глухим кварталам Фив истощили силы Тахосер. Ее нежное тело было разбито усталостью, и скоро ее длинные ресницы опустились двумя черными полукругами на щеки, окрашенные лихорадочным румянцем. Наступил сон, тревожный, беспокойный, полный странных грез и грозных галлюцинаций. Во сне она нервно вздрагивала, и отрывистые слова, имевшие связь с ее разговором во сне, слетали с ее губ.

Сидя у изголовья ложа, Рахиль следила за переменами в выражении лица Тахосер, тревожилась, когда в чертах больной отражалось страдание, и успокаивалась, когда к ней возвращалось спокойствие. Тамар, сидя против своей госпожи, также наблюдала за дочерью жреца; но в ее лице было меньше доброжелательства. Низменные инстинкты можно было прочесть на ее низком челе, стянутом широкой повязкой израильского головного убора; ее глаза, блестящие, несмотря на преклонные годы, блестели любопытством из темных орбит; костистый нос, крючковатый, как у хищной птицы, казалось, чуял тайны, и ее губы безмолвно шевелились, как будто приготовлялись к вопросам.

Ее крайне интересовала эта неизвестная, подобранная у дверей

хижины. Откуда она? Как она здесь очутилась? С какой целью? Кто она? Такие вопросы задавала себе Тамар и не находила удовлетворительных ответов. К тому же она, как и все старухи, имела предубеждение против красавиц: и по этой причине Тахосер ей не нравилась. Только своей госпоже верная служанка прощала красоту, и на эту красоту она смотрела как на свою, и с гордостью и ревниво относилась к ней.

Так как Рахиль хранила молчание, то старуха села возле нее и, мигая глазами, темные веки которых опускались и поднимались точно крылья летучей мыши, она сказала тихо, по-еврейски:

— Госпожа, я не жду ничего доброго от этой женщины.

— Почему так Тамар? — ответила так же тихо и на том же языке Рахиль.

— Странно, — продолжала подозрительная Тамар, — почему она лишилась чувства именно здесь, а не в другом месте.

— Она упала там, где заболела.

Старуха с сомнением покачала головой.

— Или ты думаешь, что она не лишилась чувств в действительности? — спросила возлюбленная Поэри. — Парасхит мог бы разрезать ей недра острым камнем, настолько она была похожа на труп. Угасший взор, бледные губы, бесцветные щеки, неподвижные члены, кожа холодная, как у мертвеца, — все это не могло быть притворным.

— Без сомнения, нет, — ответила Тамар, — хотя есть женщины достаточно ловкие, чтобы притворяться с какой-нибудь целью настолько сходно, что могут обмануть даже самых проницательных. Я думаю, что эта девушка действительно потеряла сознание.

— На чем же основываются твои подозрения?

— Каким образом она очутилась среди ночи в этом отдаленном квартале, обитаемом только бедными пленниками нашего племени, которых злобный Фараон заставляет изготовлять кирпичи и при этом не дает им даже соломы для их обжигания? Какая причина привела египтянку к нашим жалким хижинам? Почему ее одежда была мокрой, как будто она вышла из бассейна или из реки?

— Я этого не знаю так же, как и ты, — ответила Рахиль.

— А если это соглядатай наших врагов? — сказала старуха, и ее глаза сверкнули ненавистью. — Подготовляются великие события; кто знает не проведали ли о том?

— Как может больная девушка повредить нам? Она в наших руках, слабая, одинокая, почти умирающая? Притом мы можем, при малейшем подозрительном признаке, удержать ее в плену до дня освобождения.

— Во всяком случае, нужно ее остерегаться. Взгляни, как нежны ее руки.

И старая Тамар приподняла одну из рук спящей.

— Каким образом нежность ее кожи может быть нам опасна?

— О, неблагоразумная юность! О, безумная юность, ничего не видящая и доверчиво идущая в жизни, не помышляя ни о каких западнях, ни о терниях, скрытых в травах, и о горящих угольях под пеплом и готовая ласкать гадюку, принимая ее за ужа! Пойми, Рахиль, и открой свои глаза. Эта женщина не принадлежит к тому сословию, облик которого она желает принять; ее палец не стал плоским от нити веретена! Эта рука, умащенная благовониями, никогда не работала; эта бедность притворна.

Слова Тамар, по-видимому, оказали влияние на Рахиль; она стала рассматривать Тахосер более внимательно.

Лампа бросала на нее трепетные лучи, и чистые формы девушки, объятой сном, обрисовывались в желтом свете. Рука, которую приподнимала Тамар, еще лежала на шерстяном полосатом покрывале и рядом с темной тканью казалась еще белее; браслет из сандалового дерева у кисти руки, грубое украшение бедного кокетства, был дурно вырезан, но кожа казалась пропитанной ароматическими эссенциями. И Рахиль могла теперь оценить, как прекрасна Тахосер. Но эта красота не привела ее в раздражение, как Тамар, а, напротив того, тронула. Она не могла поверить, чтобы такое внешнее совершенство скрывало низкую и коварную душу; юная чистота судила правильнее, чем старая опытность ее служанки.

День наступил, и лихорадка Тахосер усилилась; несколько мгновений бреда чередовались с долгим сном.

— Если она здесь умрет, — говорила Тамар, — нас обвинят в том, что мы ее убили.

— Она не умрет, — возражала Рахиль и протягивала к горячим губам больной чашу чистой воды.

— Я ночью брошу ее тело в Нил, — продолжала упрямая Тамар, — и крокодилы помогут ей исчезнуть.

День протек; наступила ночь и в привычный час Поэри, сделав условный знак, появился, как и накануне, на пороге хижины. Рахиль пошла к нему навстречу, приложив палец к губам, чтобы он говорил тише, потому что Тахосер спала.

Затем Рахиль взяла его за руку и подвела к ложу Тахосер, и Поэри тотчас же узнал ту, которая именовала себя Хорой, и чье исчезновение тревожило его, в особенности после посещения Тимофта, разыскивавшего ее от имени повелителя.

Крайнее изумление отразилось в его чертах, когда он поднял голову, после того как, склонившись к изголовью ложа, он убедился, что перед ним лежит та самая девушка, которой он оказал гостеприимство и которая непонятным для него образом очутилась в этой хижине.

Его изумление поразило сердце Рахили; она стала перед Поэри, чтобы прочесть в его глазах истину, положила руки на его плечи и сказала ему сухо и коротко, совсем не похоже на ее обычное воркование голубицы:

— Так ты ее знаешь?

Лицо Тамар сморщилось в гримасу удовольствия: она гордилась своей проницательностью и почти радовалась, что ее подозрения относительно чужестранки уже отчасти оправдываются.

— Да, — просто ответил Поэри.

Черные, как уголь, глаза служанки засверкали лукавым любопытством.

Лицо Рахили снова стало спокойным: она не сомневалась в своем возлюбленном.

Поэри рассказал про девушку по имени Хора, которую он принял в свой дом, как гостя, и которая непонятным для него образом очутилась здесь; он прибавил, что посланцы Фараона ищут повсюду Тахосер, дочь великого жреца Петамунофа, скрывшуюся из своего дворца.

— Ты видишь, госпожа, что я была права, — сказала с торжеством Тамар, — Хора и Тахосер — одно лицо.

— Это возможно, — ответил Поэри. — Но тут есть какие-то тайны, необъяснимые для моего ума: почему Тахосер (если это она) приняла на себя чужой облик? И затем: каким образом эту девушку, которую я оставил вчера на том берегу Нила, нахожу я здесь? Она, конечно, не могла знать, куда я иду.

— Она, без сомнения, следила за тобой, — сказала Рахиль.

— Но в то время не было, я уверен, другой лодки на реке, кроме моей.

— Поэтому вода струилась с ее волос и ее одежда была мокрой: она переплыла Нил.

— Правда, на миг мне показалось, что я вижу в темноте над водой человеческую голову.

— То была она, бедное дитя, — сказала Рахиль, — доказательством служит ее усталость и обморок; после твоего ухода я подняла ее без чувств у стены нашей хижины.

— Да, вероятно, все так и произошло, — сказал юноша, — я вижу ее действия; но не понимаю ее побуждений.

— Я объясню тебе, — с улыбкой сказала Рахиль, — хотя я сама невежда, а тебя по твоим знаниям сравнивают с жрецами Египта, которые

день и ночь изучают науку в своих святилищах, расписанных иероглифами, смысл которых они одни разумеют. Но часто люди, занятые изучением звезд, музыки и чисел не угадывают, что происходит в сердце юных дев; они видят в небе отдаленную звезду и не замечают любовь рядом с собой. Хора или Тахосер — потому что это она — приняла чуждый ей вид, чтобы проникнуть в твой дом, чтобы жить возле тебя; в ревности она пошла вслед за тобой во мраке; с опасностью достаться в добычу крокодилам, она переплыла Нил, здесь она следила за нами через какую-нибудь щель в стене и не могла вынести картину нашего счастья. Она тебя любит, потому что ты прекрасен, силен и добр; но мне это безразлично, потому что ты ее не любишь. Ты понял теперь?

Легкая краска показалась на щеках Поэри; он опасался, что Рахиль раздражена и что, говоря таким образом, она хочет уловить его хитростью. Но взгляд ее, светлый и чистый, не скрывал никакой задней мысли. Она не гневалась на Тахосер за любовь к тому, кого любит сама.

Сквозь видения своих грез Тахосер узнала Поэри перед собой. Восторженная радость изобразилась на ее лице и, приподнявшись, она схватила руку юноши, чтобы поднести к своим губам.

— Ее губы горят, — сказал Поэри, отнимая свою руку.

— От любви столько же, как и от горячки, — прибавила Рахиль, — но она действительно больна; не пойдет ли Тамар позвать Моисея? Он ученее всех мудрецов и гадателей Фараона, чудесам которых он подражает. Он знает свойства растений и умеет составлять напитки, которые могут воскресить мертвых; он исцелит Тахосер. Я не так жестока, чтоб желать ее смерти.

Тамар, ворча, ушла и скоро вернулась в сопровождении старца высокого роста и величественного вида, внушавшего уважение: обильная седая борода падала на его грудь; по сторонам чела две сильных выпуклости отражали свет: точно два рога или два луча. Под густыми бровями глаза сверкали, как пламя. В простой одежде он казался пророком или богом.

Поэри поведал все ему, и он сел у ложа Тахосер; простирая над ней руки, он сказал:

— Во имя того, кто все может и пред кем иные боги не более чем идолы или демоны, ты, хотя и не избранного Господом племени, юная дева, да будешь исцелена!

XIII

Великий старец ушел медленно и торжественно, оставляя как бы сияние за собой. Тахосер, чувствуя с удивлением, что болезнь ее покинула, осматривала вокруг себя комнату и скоро, завернувшись в ткань, которою ее укрыла юная израильтянка, она спустила ногу на пол и села на ложе; утомление и лихорадка совершенно исчезли. Она была свежа, как после долгого отдыха, и красота ее сияла во всей чистоте. Откинув своими маленькими руками за уши густые пряди волос, она открыла лицо, озаренное любовью, как будто желая, чтобы Поэри мог ее прочесть в ее чертах. Но видя, что он стоит неподвижно возле Рахили и ни одним взглядом или движением не обнадеживает ее, она медленно встала, приблизилась к юной израильтянке и в самозабвении обвила ее шею руками.

И так оставалась, скрыв лицо на груди Рахили и проливая горячие слезы.

Иногда рыдание, которое она не могла сдержать, заставляло ее судорожно вздрагивать у сердца ее соперницы; это искреннее отчаяние тронуло Рахиль. Тахосер признавала себя побежденной и просила о милости безмолвной мольбой, взывая к великодушию женщины.

Рахиль, растроганная, обняла ее и сказала:

— Осуши твои слезы и не отчаивайся. Ты любишь Поэри. Люби его; я не буду ревнива. Иаков, один из патриархов нашего племени, имел двух жен; одна звалась Рахиль, как я, другая Лиа. Иаков больше любил Рахиль, но все же Лиа, у которой не было твоей красоты, жила счастливо при нем.

Тахосер склонилась к ногам Рахили и поцеловала ее руку. Рахиль подняла ее и дружески обняла рукой ее стан.

Очаровательную группу представляли эти две женщины разных племен, красоту которых они олицетворяли: Тахосер, изящная, грациозная и тонкая, как преждевременно развившийся ребенок, Рахиль, блистательная, сильная и величественная в своей ранней зрелости.

— Тахосер, — сказал Поэри, — потому что таково, я думаю, твое имя… Тахосер, дочь великого жреца Петамунофа…

Девушка сделала утвердительный знак.

— Почему ты, живущая в Фивах в богатом дворце, окруженная рабами, желанная самыми красивыми из египтян, избрала для твоей любви сына племени, обращенного в рабство, чужестранца, не разделяющего

твоей веры, такого далекого от тебя?

Рахиль и Тахосер улыбнулись; дочь жреца ответила:

— Именно по этим причинам.

— Хотя я в милости у Фараона, управляю имением и могу носить золотые рога в праздники земледелия, но я не могу возвыситься до тебя; в глазах египтян я только раб, а ты принадлежишь к жреческой касте, к самой высокой, к самой почитаемой. Если ты меня любишь, а в этом я не могу сомневаться, ты должна будешь расстаться со своим званием…

— Разве я не стала уже твоей служанкой? У Хоры не осталось ничего от Тахосер, даже эмалевых ожерелий и прозрачных одежд, поэтому ты нашел, что я некрасива.

— Надо отречься от твоей родины и последовать за мной в неведомые страны, где жжет солнце, где дышит огненный ветер, где движущийся песок спутывает все дороги, где не растет ни одного дерева и не журчит ни один фонтан, в долины забвения и гибели, усеянные белыми костями, отмечающими путь.

— Я пойду, — спокойно сказала Тахосер.

— Этого недостаточно, — продолжал Поэри. — Твои боги не мои, твои боги из меди, базальта и гранита, созданные рукой человека, чудовищные идолы с головами копчика, обезьяны, ибиса, коровы, шакала, льва, принявшие звериный образ, как бы смущаясь человеческого лика, на котором сияет отблеск Иеговы. Сказано: „Ты не поклонишься камню, ни дереву, ни металлу”. В глубине этих святилищ, возведенных на крови угнетенных племен, отвратительно глумятся над людьми гнездящиеся там демоны, похищающие возлияния, приношения и жертвы; единый же бог, бесконечный, вечный, без формы, без цвета наполняет беспредельность небес, которые вы наполняете множеством призраков. Наш бог создал нас, вы же создаете ваших богов.

Хотя Тахосер пылала любовью к Поэри, но эти слова произвели на нее странное впечатление, и она отшатнулась в ужасе. Дочь великого жреца привыкла почитать богов, которых юный израильтянин хулил с такою смелостью; она приносила на их алтари букеты лотосов и сжигала благовония перед их бесстрастными ликами; с изумлением и восторгом она бродила по их храмам, расписанным яркой живописью. Она видела, как ее отец совершал таинственные обряды, она следовала за вереницами жрецов, проносивших символический ковчег по гигантским протелеям и среди рядов сфинксов, она не без любопытства любовалась картинами психостасиса, где трепещущая душа предстает перед Озирисом, держащим плеть и жезл, и мечтательным взором смотрела на эмблематические

изображения отходящих в западные области. И ей отречься от своих верований!

Она молчала несколько минут, колеблясь между любовью и верой. Любовь одержала верх, и она сказала:

— Ты изъяснишь мне твоего бога, и я постараюсь его понять.

— Это хорошо, — сказал Поэри, — ты будешь моей женой. Пока же оставайся здесь, потому что Фараон, без сомнения, жаждущий тебя, разыскивает тебя через своих посланцев. Он не найдет тебя под этой скромной кровлей, а через несколько дней мы будем вне его власти. Но ночь проходит, и мне надо удалиться.

Поэри ушел и скоро две женщины заснули рядом на узком ложе, обнявшись, как сестры.

Тамар, которая перед этим сидела, съежившись в углу комнаты, точно летучая мышь, уцепившаяся когтями своих перепонок, и бормотала бессвязные слова, морща низкий лоб, теперь расправила свои угловатые члены, поднялась на ноги и, склонясь над ложем, прислушалась к дыханию спящих. Удостоверясь, что они крепко заснули, она направилась к двери, ступая с величайшей осторожностью.

Выйдя из дому, она поспешно направилась к берегу Нила, отбрасывая от себя собак, которые хватали зубами края ее туники, или волоча их за собой, в пыли, пока они не выпускали ее одежду, иногда она смотрела на них такими пылающими глазами, что они отступали с жалобным лаем и давали ей дорогу.

Скоро она прошла через опасные пустыри, где гнездятся воры, и вступила в богатые кварталы Фив; три, четыре улицы, окаймленные высокими зданиями, тени которых рисовались большими углами, привели к цели — к ограде дворца.

Надо было проникнуть в него, а это было нелегко для старой еврейской служанки с запыленными ногами и в подозрительных рубищах.

Она подошла к главному пилону, перед которым лежат пятьдесят сфинксов с бараньими головами, подобные чудовищам, готовым растерзать своими гранитными челюстями смельчаков, которые попытались бы проникнуть силой.

Часовые остановили ее и грубо ударили древками своих дротиков; потом спросили, что ей надо.

— Я хочу видеть Фараона, — ответила старуха, потирая спину.

— Очень хорошо!.. Вот именно… Ради такой ведьмы тревожить Фараона, возлюбленного богом Фрэ, Избранника Аммона-Ра, Исчислителя народов! — говорили солдаты, покатываясь со смеху.

Тамар упрямо повторяла:

— Я хочу тотчас видеть Фараона.

— Удачно выбрано для этого время! Фараон только что убил жезлом трех посланцев; он на террасе, неподвижный и страшный, как Тифон, бог зла, — сказал один из солдат, удостаивая снизойти до некоторого объяснения.

Служанка Рахили попыталась прорваться через стражу; дротики стали ударять ее по голове с равномерностью молотов на наковальне.

Она стала кричать точно птица, которую ощипывают живой.

На шум пришел оэрис, и солдаты перестали бить Тамар.

— Что хочет эта женщина и почему вы ее бьете? — спросил оэрис.

— Я хочу видеть Фараона! — закричала Тамар, падая к ногам офицера.

— Невозможно, хотя бы ты была не жалкой нищей, а одним из высших лиц царства, — ответил оэрис.

— Я знаю, где находится Тахосер, — шепнула ему старуха, делая ударение на каждом слоге.

При этих словах оэрис взял Тамар за руку, провел ее через первый пилон и затем пошел с ней через аллею колонн крытой залы во второй двор, где возвышается святилище из гранита и перед ним две колонны с капителями в виде лотоса; там он передал Тамар Тимофту.

Тимофт провел служанку на террасу, где находился мрачный и безмолвный Фараон.

— Говори с ним только вдали от его жезла, — посоветовал Тимофт израильтянке.

Увидев в полумраке царя, Тамар упала лицом на плиты рядом с мертвыми телами, которые еще не были убраны, а затем вскоре, приподнявшись, она сказала уверенно:

— О Фараон! Не убивай меня, я приношу добрую весть.

— Говори без страха, — ответил царь, ярость которого утихла.

— Я знаю убежище той Тахосер, которую искали посланные тобой на четырех сторонах ветра.

При имени Тахосер, Фараон встал сразу и сделал несколько шагов к Тамар, все еще коленопреклоненной:

— Если ты говоришь правду, то можешь взять из моих гранитных комнат столько золота и драгоценностей, сколько будешь в состоянии унести.

— Я отдам ее тебе, будь покоен, — проговорила старуха с резким смехом.

Что побудило Тамар выдать Фараону дочь жреца? Она хотела предупредить союз, ей неприятный; к племени Египта она питала ненависть, слепую, жестокую, безрассудную, почти животную, и ей нравилась мысль разбить сердце Тахосер. Из рук Фараона соперница Рахили не ускользнет: гранитные стены не отдадут свою добычу.

— Где она? — спросил Фараон. — Укажи место, я хочу ее видеть тотчас.

— О Величество! Я лишь одна могу тебя проводить. Я знаю все обходы в тех частях города, куда последний из твоих слуг не удостоится войти. Тахосер там, в земляной хижине, ничем не отличающейся от соседних, среди груд кирпичей, которые делают для тебя евреи за пределами городских зданий.

— Хорошо, я доверюсь тебе, — сказал царь. — Тимофт, вели запрячь колесницу.

Тимофт исчез.

Скоро раздался стук колес на плитах и топот коней, которых запрягли слуги.

Фараон сошел вниз в сопровождении Тамар.

Он вскочил в колесницу, взял вожжи и, так как Тамар колебалась, сказал ей: „Войди же!” Потом щелкнул языком, и лошади помчались. Пробужденное эхо повторяло стук колес, раздававшийся словно смутный гром в ночной тишине среди обширных и глубоких зал.

Отвратительная старуха, уцепившись своими костлявыми пальцами за борт колесницы рядом с колоссальной фигурой богоподобного Фараона, представляла странное зрелище; но его видели лишь звезды, мерцавшие в темной лазури неба. Тамар напоминала теперь одного из злых гениев чудовищного вида, сопровождающих преступные души в ад. Так сближают страсти тех, кто не должны были вовсе встречаться.

Кони, побуждаемые бичом, неслись вперед, и колесница прыгала по камням со звоном меди.

В это время Тахосер спала рядом с Рахилью, и странное сновидение посетило ее.

Она видела себя в громадном храме; колонны безмерной высоты поддерживали голубой потолок, усеянный звездами наподобие неба; бесконечные линии иероглифов шли вдоль стен среди символических картин, написанных сияющими красками. Все боги Египта сошлись в этом общем святилище, боги не из меди, базальта или порфира а в образе живых существ. В первом ряду сидели божества высших небес: Кнэф, Буто, Фта, Пан-Мендэс, Хатор, Фрэ, Изида; затем двенадцать небесных божеств,

шесть мужских: Ремфа, Пи-Зэус, Эртоси, Пи-Гермес, Имутес, и шесть женских: Луна, Эфир, Огонь, Воздух, Вода, Земля. За ними кишела смутная, неопределенная толпа — триста шестьдесят пять Деканов или домашних демонов каждого дня. Потом виднелись земные боги: второй Озирис, Хароэри, Тифон, вторая Изида, Нефтис, Анубис с головою пса, Тот, Бусирис, Бубастис, великий Серапис. А вдали, в полумраке рисовались идолы в образе животных: быки, крокодилы, ибисы, гиппопотамы. Среди храма в открытом саркофаге покоился великий жрец Петамуноф, с освобожденным от повязок лицом, и насмешливо смотрел на это странное и чудовищное сборище. Он был мертвым, но живым, и говорил, как это часто видится во сне; и он говорил дочери: „Обратись к ним с вопросом и спроси, боги ли они?”

И Тахосер пошла к ним и спрашивала их, все отвечали: мы только числа, законы, силы, свойства, излияния и мысли Бога; но ни один из нас не есть истинный Бог.

Поэри появился на пороге храма и, взяв Тахосер за руку, повел ее к такому яркому свету, что перед ним солнце показалось черным, и среди этого света в треугольнике сияли неведомые слова…

Между тем колесница Фараона мчалась среди всяких препятствий, и в узких местах ободья колес царапали стены.

— Умерь бег твоих коней, — сказала Тамар, — стук колес в этом уединении может разбудить беглянку, и она снова ускользнет от тебя.

Фараон нашел основательным ее совет и, несмотря на нетерпение, сдержал порывистость коней.

— Вот здесь, — сказала Тамар, — я оставила дверь открытой; войди, я же буду сторожить коней.

Фараон сошел с колесницы и, нагнув голову, вступил в хижину.

Лампа еще теплилась и проливала свой умирающий свет на двух спящих девушек.

Фараон взял в свои могучие руки Тахосер и направился к выходу.

Когда она проснулась и перед своим лицом увидела огненный лик Фараона, то сперва подумала, что это новое видение ее сна. Но скоро ночной воздух, коснувшись ее, вернул ее к сознанию действительности. Обезумев от ужаса, она хотела крикнуть, звать на помощь, но звуки не выходили из ее горла. И кто мог бы защитить ее от Фараона?

Одним прыжком царь вскочил на колесницу обвил вожжи вокруг своего стана и, прижав к сердцу полумертвую Тахосер, пустил вскачь коней по направлению к Северному дворцу.

Тамар, как пресмыкающееся, скользнула в хижину, уселась на свое

привычное место и стала смотреть на спящую Рахиль нежным, почти материнским, взглядом.

XIV

Поток свежего воздуха, вызванный быстрым бегом колесницы, скоро возвратил к жизни Тахосер. Прижатая к груди Фараона, чуть не раздавленная его гранитными руками, она едва чувствовала биение своего сердца, и на ее трепещущей груди отпечатывались твердые эмалевые ожерелья царя. Кони, которым он дал свободу, бешено мчались; медь звенела, разгоряченные ступицы дымились. Тахосер, испуганная, видела, как в смутном сне, что мимо нее неслись направо и налево неясные очертания зданий, деревьев, дворцов, храмов, пилонов, обелисков, колоссов, казавшихся фантастическими и ужасными в ночном полумраке. Какие мысли проносились в ее уме во время это бешеной скачки? У нее было не больше мыслей, чем у трепещущей голубицы, которую сокол уносит в когтях; немой ужас подавлял ее, леденил ее кровь, прерывал ее сознание. Ее руки и ноги опустились безжизненно, воля ослабела так же, как и мускулы, и если б ее не держали руки Фараона, то она упала бы на пол колесницы, как кусок ткани. Два раза казалось ей, она чувствовала на щеке горячее дыхание и огненные уста и не попыталась отстранить голову: ужас убил в ней стыдливость. При одном сильном толчке колесницы о камень, темный инстинкт самосохранения заставил ее схватить руками плечо царя и прижаться к нему, потом она снова осталась недвижимой и опустилась на его грудь, которая ее давила.

Кони направились в аллею сфинксов, ведущую к гигантскому пилону с карнизом, на котором расширялись крылья эмблематического шара; ночь стала прозрачнее, и дочь жреца могла различить, что то был царский дворец. Отчаяние овладело ею, она стала пытаться освободиться от сжимавших ее объятий, уперлась своими слабыми руками в грудь Фараона, выпрямляя их, откидываясь к борту колесницы. Бесполезные усилия, безумная борьба! Похититель, с улыбкой, медленным и непреодолимым движением прижимал ее снова к своему сердцу, как бы желая вдавить ее в него; она попыталась кричать — поцелуй зажал ей губы.

В несколько прыжков кони примчались к пилону, проскакали через него галопом, радуясь возвращению к стойлам, и колесница внеслась в обширный двор.

Прибежали слуги и бросились навстречу лошадям, узды которых побелели от пены.

Тахосер осмотрелась испуганным взором; высокие кирпичные стены

составляли обширную квадратную ограду, среди которой на востоке возвышался дворец, а на западе храм среди двух водоемов для священных крокодилов. Первые лучи солнца, уже поднимавшегося из-за Аравийских гор, бросали розовый свет на вершины сооружений, а основания их еще тонули в голубоватой тени. Никакой надежды на бегство; архитектура, в которой не было ничего ужасного, тем не менее представляла такую несокрушимую силу, такую вечную твердость, что только всемирное разрушение могло бы открыть выход из этих каменных громад. Чтобы низверглись эти пилоны, сложенные из кусков скал, земля должна была бы потрястись в своих основах; пожар только лизнул бы своими языками эти несокрушимые глыбы.

У Тахосер не было сверхъестественных средств защиты, и сила унесла ее как ребенка на руках Фараона, спрыгнувшего с колесницы.

Четыре высоких колонны с капителями в виде пальм образовывали пропилеи дворца, куда царь вошел, держа у груди дочь Петамунофа. Войдя в двери, он осторожно опустил ее на пол и, видя, что Тахосер нетвердо держится на ногах, сказал ей:

— Успокойся! Ты царишь над Фараоном, а Фараон царит над миром.

Это были его первые слова к ней.

Если бы любовь согласилась с разумом, то Тахосер избрала бы Фараона, а не Поэри. Царь был одарен сверхчеловеческой красотой: его крупные, чистые, правильные черты, казалось, были изваяны резцом и в них нельзя было бы найти ни малейшего несовершенства. Привычка к власти дала его глазам тот проникновенный свет, который свойствен божествам и царям. Его губы, одно движение которых могло бы изменить лик земли и судьбы народов, были алые, как свежая кровь на острие меча, а когда он улыбался, они очаровывали неотразимой силой своей улыбки. Его высокая, пропорциональная фигура являла благородство линий, чарующее в изваяниях храмов; когда торжественный и сияющий, покрытый золотом и эмалями, он появлялся в голубоватом дыму курений, то, казалось, не принадлежал к этому хрупкому человеческому племени, которое из поколения в поколение падает, подобно осенним листьям, и исчезает, покрытое бальзамами, в беспросветных глубинах подземных могил.

Что такое рядом с этим полубогом незаметный Поэри? А между тем его любила Тахосер. Давно мудрецы отказались объяснить сердце женщины. Они знают астрономию, астрологию, арифметику, знают происхождение вселенной, могут сказать, где обитали планеты в час сотворения мира; они чертят на папирусе и на граните течение небесного океана от востока к западу, они сосчитали звезды, рассеянные на голубой

мантии богини Нейт, и знают, как путешествует солнце в верхней полусфере и в нижней, с двенадцатью ладьями дневными и двенадцатью ночными под предводительством небесного кормчего Нэб-Ва, госпожи корабля, знают они, что в последней половине месяца Тоби Орион влияет на левое ухо, а Сириус на сердце, но они совершенно не знают, почему женщина предпочитает одного человека другому, ничтожного израильтянина — великому Фараону.

Пройдя через несколько зал, по которым он вел за руку Тахосер, Фараон сел на кресло, имевшее подобие трона, в роскошно украшенной комнате.

На голубом потолке сияли золотые звезды, а к столбам, поддерживающим карниз, прислонились статуи царей, увенчанных пшентом, со сложенными на груди руками; обведенные черными чертами глаза смотрели с устрашающей настойчивостью.

Между столбами горели лампы на подставках, а на стенах было целое шествие племен с природными чертами и в одеждах, соответствующих народам четырех частей света.

Во главе группы, предводимой Горусом, пастырем народов, шел человек, по преимуществу египтянин, Рот-эн-нэ-ром, с изящным лицом, слегка горбатым носом, с гладкими прядями волос, с темно-красной кожей, на которой резко выделялся белый передник. Затем следовал негр или Нахаси, чернокожий, с толстыми губами, выдающимися скулами, густо вьющимися волосами, далее азиат или Наму, с желтоватой кожей, резко горбатым носом, черной густой и остроконечной бородой, в цветной юбке с бахромой; затем, европеец или Тамху, самый дикий из всех, белокожий, голубоглазый с рыжей бородой и волосами, с невыдубленной бычачьей кожей на плече, с татуировками на руках и ногах.

Картины войн и побед наполняли другие стены, и иероглифические надписи разъясняли их содержание.

Среди комнаты, на столе, который поддерживали фигуры пленников, связанных за локти, сделанные так искусно, что они казались живыми и страдающими, раскинулся громадный сноп цветов, наполнявших воздух своим ароматом.

В этой великолепной комнате, окруженной изображениями предков, все повествовало и воспевало славу Фараона. Народы мира шли позади Египта, признавая его главенство, а Фараон повелевал Египтом. Но дочь Петамунофа не была ослеплена этим блеском и думала о сельском доме Поэри и о жалкой земляной хижине в еврейском квартале, где она рассталась со спящей Рахилью, которая теперь счастлива, единая супруга

Поэри.

Фараон держал концы пальцев Тахосер, стоявшей перед ним, и устремил на нее свои соколиные очи, веки которых никогда не вздрагивали; на ней была лишь одна одежда, которой Рахиль заменила ее мокрую тунику; но ее красота нисколько не терялась от этого; она была почти обнажена, придерживая одной рукой падавшую с нее грубую ткань, и верхняя часть ее тела открывалась в своей золотистой белизне. Обычно ожерелья, браслеты и пояса завистливо закрывали ее тело, но без этих украшений ее красота еще более восхищала.

Много красавиц было в гинекее Фараона, но ни одна не могла сравниться с Тахосер, и очи царя метали такое пламя, что она опустила глаза, не имея силы вынести.

В своем сердце Тахосер гордилась, что внушила любовь Фараону: какая женщина, самая совершенная, чужда тщеславия? Но все же она предпочла бы последовать в пустыню за юным евреем. Царь вызывал в ней страх; она была ослеплена величием его лица, и ее ноги подкашивались. Фараон увидел ее смущение и усадил ее у своих ног на красную подушку, вышитую и украшенную кистями.

— О, Тахосер, — сказал он, целуя ее волосы, — я люблю тебя! Когда я увидел тебя с высоты моего победного трона, несенного оэрисами над головами всех людей, неведомое чувство проникло в мою душу. Я, чьи желания всеми предупреждаются, я пожелал нечто; я понял, что не все есть во мне. До той поры я жил одиноким в моем всемогуществе, в глубине моих беспредельных дворцов, окруженный улыбающимися тенями, которые называли себя женщинами и которых я замечал не более того, как изображения на стенах. Я слышал вдали ропот и стоны народов, о чьи головы я отирал прах моих сандалий и которых я брал с земли за волосы, и в моей груди, холодной, как грудь базальтового бога, я не слышал биения сердца. Мне казалось, что нет на земле существа, подобного мне и способного меня взволновать. Тщетно после моих походов я приводил избранных дев и женщин, прославленных в своей стране красотой: я их бросал, как цветы, подышав один миг их ароматом. Ни одна не поселяла во мне желания увидеть ее снова. Когда они были передо мной, я едва их замечал, в их отсутствие я их тотчас забывал. Твэа, Тайа, Аменсэ, Хонт-Решэ, которых я оставил при себе, чтобы с отвращением не искать других, были в моих объятьях только призраками, благоухающими, прелестными тенями, существами другой породы, с которыми не могло сродниться мое существо, подобно тому, как леопард не может соединиться с газелью, или живущий в воздухе с живущими в воде. И я думал, что поставленный

богами превыше смертных, я не должен разделять ни их скорби, ни их радости. Бесконечная скука, подобная той, какую испытывают мумии, связанные в своих гробах в глубине подземных жилищ и ожидающие часа, когда душа их совершит круг своих скитаний, такая скука овладела мною на моем троне, на котором часто, положив руки на колени, как изваяние из гранита, я грезил о невозможном, о вечном, о бесконечном. Много раз я помышлял поднять покрывало Изиды под страхом упасть сраженным молнией к ногам богини. Может быть, этот таинственный образ есть тот, о котором я мечтаю, и он внушит мне любовь. Если земля мне отказывает в счастье, я взойду на небо… Но я встретил тебя, я испытал странное и новое чувство; я почувствовал, что есть, вне меня, существо, мне необходимое, могущественное, роковое, без которого я не буду в силах жить и которое имеет власть сделать меня несчастным. Я был царь, почти бог; Тахосер, ты сделала меня человеком!

Никогда, может быть, Фараон не произносил такой долгой речи. Обычно, одно слово, жест, движение глаз выражали его волю, тотчас угаданную тысячью внимательных, тревожных взглядов. Исполнение его воли следовало за его мыслью, как молния за громом. Ради Тахосер он, казалось, отрекся от своего каменного величия; он говорил, он выражал свои мысли, как смертный.

Тахосер была во власти странного волнения. Она испытывала гордость, что внушила любовь Избраннику Фрэ, Возлюбленному Аммоном-Ра, Исчислителю народов, существу грозному, торжественному и величественному, на кого она едва осмеливалась поднять глаза, но она не чувствовала к нему никакого влечения, и ей казалась страшной мысль принадлежать ему, Фараону, похитившему ее тело, она не могла отдать свою душу, которая осталась вместе с Поэри и Рахилью. Царь, по-видимому, ждал ответа, и она сказала:

— Почему, о Царь, твой взгляд упал на меня, минуя всех дочерей Египта, которые превосходят меня красотой и всякими дарованиями? Почему среди пышных лотосов, белых, голубых и розовых, нежно благоухающих, избрал ты скромный, незаметный стебель травы?

— Не знаю. Но ведай, что ты одна существуешь в мире для меня, и царских дочерей я сделаю твоими служанками.

— А если я не люблю тебя? — робко спросила Тахосер.

— Что мне до того, если я тебя люблю? — ответил Фараон. — Разве прекраснейшие в мире женщины не лежали на моем пороге, рыдая и стеная, царапая щеки и поражая грудь, терзая волосы и умоляя об одном лишь взгляде любви, который не снизошел к ним. Страсть другого

существа никогда еще не вызвала трепет в медном сердце в этой груди. Противься мне, питай ненависть ко мне, ты будешь еще более очаровательной; впервые моя воля встречает препятствие, и я сумею ее победить.

— А если бы я любила другого? — продолжала, осмелев, Тахосер.

При этом предположении брови Фараона сдвинулись; он закусил нижнюю губу, на которой его зубы оставили белые следы, и он до боли сжал пальцы девушки; потом медленно, глубоким голосом сказал:

— Когда ты будешь жить в этом дворце, среди этого величия, окруженная моей любовью, то забудешь все, как забывает тот, кто вкусил цветок нэпентес. Твоя прежняя жизнь покажется тебе сном, твои прежние чувства исчезнут, как дым амширов; женщина, любимая царем, не помнит о людях. Привыкай к великолепию Фараона, истощай мои сокровища, лей потоками золото, собирай горы драгоценных камней, повелевай, делай, переделывай, унижай, возвышай, будь моей госпожой, моей женой, моей царицей. Отдаю тебе Египет с его жрецами, его войсками, его земледельцами, бесчисленным народом, дворцами, храмами, городами; сомни его в твоей руке, как клочок ткани; я добуду тебе другие царства, еще прекраснее, еще богаче. Если целого мира мало тебе, я завоюю для тебя планеты, низвергну богов с их престолов. Ты та, которую я люблю. Тахосер, дочь Петамунофа более не существует!

XV

Пробудившись, Рахиль изумилась, что Тахосер нет возле нее, и осмотрелась вокруг, предполагая, что египтянка уже встала. Сжавшись в углу, обняв руками колени и опустив голову на костлявые руки, Тамар спала или притворялась спящей, потому что сквозь седые беспорядочные космы волос можно было различить ее желтоватые зрачки, похожие на совиные, светящиеся лукавой радостью и удовлетворенной злобой.

— Тамар! — воскликнула Рахиль. — Что случилось с Тахосер?

Старуха, как будто внезапно пробужденная голосом своей госпожи, медленно расправила свои члены, похожие на лапы паука, встала на ноги, потерла несколько раз темные веки своей желтой рукой, более сухой, чем рука мумии, и сказала с притворным изумлением:

— Разве ее нет здесь?

— Нет. И если бы постель не была смята рядом со мною и не висела здесь ее одежда, то я бы подумала, что все странные события этой ночи только обман сновидения.

Тамар приподняла край занавески в углу комнаты, как будто бы там могла спрятаться египтянка, отперла дверь хижины и с порога внимательно посмотрела вокруг; затем, обратясь к своей госпоже, сделала отрицательный жест.

— Странно! — проговорила задумчиво Рахиль.

— Госпожа, — сказала старуха, приближаясь с ласковым и вкрадчивым видом к юной израильтянке, — ты знаешь, эта чужестранка мне не понравилась.

— Все тебе не нравятся, Тамар, — ответила Рахиль с улыбкой.

— Кроме тебя, госпожа! — возразила старуха, поднося к губам руку молодой женщины.

— О, я знаю, ты мне предана.

— У меня никогда не было детей и часто я воображаю, что я твоя мать.

— Добрая Тамар, — сказала Рахиль, тронутая.

— Не была ли я права, говоря, что ее появление было странно? Оно объясняется ее исчезновением. Она называла себя Тахосер, дочерью Петамунофа, но это был только демон, принявший ее образ, чтобы искушать сына Израиля. Ты видела, как она смутилась, когда Поэри говорил об идолах из дерева, камня и металлов? И с каким трудом она сказала: я постараюсь верить твоему богу… Точно это слово жгло ей губы,

как горящий уголь!

— Ее слезы, падавшие мне на грудь, были настоящими слезами, слезами женщины, — сказала Рахиль.

— Крокодилы плачут, когда хотят, и гиены смеются, чтобы привлечь добычу, — продолжала старуха, — злые духи, блуждающие ночью среди камней и развалин, знают много хитростей и принимают всякие образы.

— Итак, по-твоему, эта бедная Тахосер была только призраком, одушевленным адом?

— Наверное, — ответила Тамар, — возможно ли, чтобы дочь великого жреца полюбила Поэри и предпочла бы его Фараону, который, как говорят, желает ее?

Рахиль, для которой никто на свете не был выше Поэри, не находила этого странным.

— Но если она его так любит, как говорит об этом, то почему она скрылась после того, как он, с твоего согласия, принял ее как свою вторую супругу? Только требование отречься от ложных богов и поклоняться Иегове обратило в бегство этого демона, принявшего образ женщины.

— Во всяком случае, этот демон имел кроткий голос и нежные глаза.

В глубине души Рахиль не была слишком недовольна исчезновением Тахосер. Она сохранила для себя одной сердце Поэри, и слава жертвы принадлежала ей.

Под предлогом, что она идет за съестными припасами, Тамар вышла из дому и направилась к дворцу царя; его обещание она с алчностью помнила и взяла с собой большой мешок из серого холста, чтоб наполнить его золотом.

Когда она появилась у ворот дворца, воины уже не стали ее бить; к ней имели доверие, и оэрис дворцовой стражи тотчас же впустил ее. Тимофт провел ее к Фараону.

Увидев старуху, которая ползла к его трону, как полураздавленное насекомое, царь вспомнил о своем обещании и приказал, чтобы открыли одну их гранитных комнат и позволили ей взять столько золота, сколько она может унести.

Тимофт, пользовавшийся доверием Фараона и знавший тайну затвора, открыл каменную дверь.

Громадные массы заблестели под солнечным лучом; но жадные глаза старухи засверкали еще ярче: ее зрачки пожелтели и странно заискрились. Она несколько мгновений любовалась в восхищении, потом заворотила рукава своей заштопанной туники, обнажив морщинистые руки с сухими мускулами, похожими на веревки, потом расправила свои крючковатые

пальцы, подобные когтям грифона, и с яростной, животной жадностью набросилась на груды слитков золота.

Она погружалась в золотые слитки до плеч, хватала их руками, переворачивала, катала перед собой, подбрасывала; ноздри ее расширялись, ее охватила нервная судорожная дрожь. Опьяненная, обезумевшая, вздрагивая с прерывистым хохотом, она бросала в мешок пригорошни золота, приговаривая: „Еще! Еще!” И скоро мешок наполнился. Тимофт, которого забавляло это зрелище, не мешал ей, не предполагая, чтобы этот скелет в образе старухи мог пошевелить такую громадную тяжесть. Но Тамар связала мешок веревкой и, к великому удивлению египтянина, взвалила его к себе на плечи. Жадность придала ей невероятную силу: все мускулы и нервы ее рук, шеи, плеч, напряженные до последней крайности, помогали ей нести массу металла, под которой согнулся бы самый сильный носильщик из племени Нахаси; наклонив голову, как бык, запряженный в плуг, Тамар, еле передвигая ноги, вышла из дворца, наталкиваясь на стены, почти ползая на четвереньках, так как она часто упиралась руками в землю, чтобы не упасть под тяжестью; наконец, она вышла с законно принадлежащим ей грузом золота.

Задыхаясь, теряя силы, в испарине, с болью в спине и с омертвелыми пальцами она села у дворцового входа на свой счастливый мешок, который казался ей мягче всяких подушек.

Через некоторое время она заметила двух израильтян с пустыми носилками; она позвала их и, обещая хорошую награду, уговорила их взять мешок и отнести вслед за ней.

Два еврея, в предшествии Тамар, пошли по улицам Фив и по пустырям с земляными хижинами и у одной из них, по ее указанию, сложили мешок. Тамар, хотя и ворча, отдала им обещанное вознаграждение.

Между тем Тахосер поместили в великолепных покоях, в царских покоях, таких же прекрасных, как и комнаты Фараона. Легкие колонны с капителями в виде лотосов поддерживали усеянный звездами потолок, тонкие циновки покрывали пол; ложа были отделаны металлическими пластинками и эмалью и покрыты тканями черного цвета с красными кругами; кресла на львиных лапах, скамейки на лебединых шеях, столы из драгоценного дерева, поддерживаемые азиатскими пленниками, составляли убранство комнат.

На подставках с богатой резьбой стояли большие вазы и широкие золотые чаши, работа которых стоила дороже, чем металл. Одна из них, узкая в нижней части, поддерживалась двумя конскими головами в их упряжи с бахромой. Два стебля лотоса, грациозно изгибаясь, составляли

ручки, а на выпуклости сосуда, среди стволов папируса, бежали газели.

Другой сосуд в виде крышки покрывала чудовищная голова Тифона, увенчанная пальмами и искаженная гримасой между двух змей; бока были украшены листьями и зубчатыми полосами.

Металлические зеркала, окруженные уродливыми фигурами, как бы с целью доставить красоте удовольствие видеть контраст, сундуки из кедрового и сикоморового дерева, разукрашенные и расписанные, ларцы из эмалированной глины, флаконы из алебастра, оникса и стекла, ящики с ароматами — все указывало на щедрость Фараона к Тахосер. Драгоценностями этой комнаты можно было бы заплатить подати целого государства.

Сидя в кресле из слоновой кости, Тахосер смотрела на ткани и драгоценности, которые раскладывали перед ней нагие девушки, доставая их из сундуков. Тахосер только что вышла из ванны и ароматические масла, которыми ее натерли, делали еще более нежной ее кожу; ее тело принимало прозрачность агата и как будто просвечивало; красота ее была сверхчеловеческой, и когда она обратила к зеркалу свои глаза, обведенные чертой антимония, то невольно улыбнулась своему отражению.

Широкая прозрачная туника покрывала ее тело, не скрывая его красоту, и вместо разных украшений на ней было только ожерелье из лазурных сердец с крестами, подвешенных к нити из золотых бус.

Фараон появился на пороге залы; золотая змея обвивала его густые волосы, и калазирис со сходящимися спереди складками облегал его тело от пояса до колен. Нагрудник не скрывал мощных мускулов шеи.

При виде царя Тахосер хотела встать и упасть к его ногам, но Фараон удержал ее и усадил:

— Не унижай себя, Тахосер! — сказал он нежно. — Я хочу, чтоб ты мне была равной. Мне наскучило быть одному во вселенной. Хотя я всемогущ и ты в моей власти, но я буду ждать, чтобы ты меня полюбила, как бы я был человеком. Удали от себя страх; будь женщиной со своей волей, своими склонностями, прихотями; я не видал еще таких. Но когда твое сердце заговорит, наконец, обо мне, то поведай мне о том, протянув мне цветок лотоса из твоих волос, когда я войду в твою комнату.

И хотя он не хотел допустить этого, но Тахосер бросилась к его коленам и ее слезы упали на его обнаженные ноги.

„Зачем моя душа принадлежит Поэри?” — думала она, возвращаясь к своему креслу из слоновой кости.

Тимофт, касаясь одной рукой земли, а другую положив на голову, вошел в комнату и сказал:

— О, Царь! Таинственный человек желает говорить с тобою. Большая борода спускается до его пояса; блестящие рога возвышаются на его обнаженном челе, и его глаза сверкают, как пламя. Неведомая сила предшествует ему, потому что все стражи удаляются с его пути и все двери открываются перед ним. Надо сделать то, чего он требует, и я пришел к тебе среди твоих радостей, хотя бы моя смелость была наказана смертью.

— Как его имя? — спросил царь.

Тимофт ответил:

— Моисей.

XVI

Царь перешел в другую залу, чтоб принять Моисея, и сел на трон, ручки которого имели форму двух львов; надел на шею широкое ожерелье, взял жезл и принял позу возвышенного безразличия.

Появился Моисей вместе с другим евреем, по имени Аарон. Несмотря на блеск Фараона на золотом троне, окруженного оэрисами и жезлоносцами, в этой высокой зале с гигантскими колоннами, украшенной изображениями подвигов его предков и его собственных, Моисей казался не менее внушительным; преклонный возраст придавал ему царственное величие; хотя ему было восемьдесят лет, но казалось, он обладает всей силой мужа и ничто в нем не говорило о старческом упадке сил. Морщины чела и щек как будто были начертаны резчиком на граните и не обнаруживали числа его лет; темную и морщинистую шею соединяли с плечами сухие, но еще могучие мускулы, и сеть сильных вен обрисовывалась на руках, не проявлявших старческого содрогания. Душа, сильнее человеческой, оживляла его тело, и на лице сиял даже в полутьме странный свет, как будто отблеск неведомого солнца.

Не склоняясь пред Фараоном, как то было в обычае, Моисей приблизился к трону и сказал:

— Так говорит Вечный, Бог Израиля: выпусти народ мой, дабы он принес мне торжественную жертву в пустыне.

Фараон ответил:

— Кто это Вечный, чьему голосу я должен повиноваться и отпустить Израиля? Я не знаю Вечного и не отпущу Израиля.

Не смущаясь словами царя, великий стратег ответил отчетливо:

— Бог евреев открылся нам. И мы хотим идти на три дня пути в пустыне, чтобы принести жертву Вечному Богу нашему, дабы он в гневе не поразил нас чумой или мечом.

Аарон движением головы подтвердил требование Моисея.

— Зачем отвращаете вы народ от его занятий? — ответил Фараон. — Идите к вашим работам. К счастью для вас, сегодня я милостив, иначе я мог бы приказать бить вас розгами, отрубить вам нос и уши, бросить вас живыми крокодилам. Знайте, — я хочу вам это сказать, — что нет иного бога, как Аммон-Ра, высшее и изначальное существо, мужское и женское вместе, само себя породившее и себя оплодотворяющее; от него истекают все боги, соединяющие небо с землей; они лишь формы этих созидающих

существ; о том знают мудрецы, долго изучавшие тайны в своих жилищах или в глубине святилищ, посвященных различным божественным изображениям. Не призывайте же другого бога, вымышленного вами, для того чтобы возмущать евреев и мешать им исполнять возложенную на них работу. Ваше жертвоприношение есть только понятный обман: вы хотите бежать. Уйдите с моих глаз и продолжайте лепить глину для моих сооружений, царских и жреческих, для моих пирамид, дворцов и стен.

Моисей, видя, что не может тронуть сердце Фараона и что настойчивостью может вызвать его гнев, удалился молча, в сопровождении огорченного Аарона.

— Я повиновался повелению Вечного, — сказал своему спутнику Моисей, выйдя за пилон, — но Фараон остался бесчувствен, как будто бы я говорил не ему, а этим каменным людям, сидящим на тронах у дверей дворцов, или же этим идолам с головами собаки, копчика и обезьяны, перед которыми жрецы кадят в глубине святилищ. Что скажем мы народу, когда он спросит нас о нашей беседе с Фараоном?

Опасаясь, чтобы евреи по внушению Моисея не вздумали сбросить с себя иго, Фараон заставил их нести еще более тяжелые работы и не велел давать им соломы для примеси к глине. И тогда дети Израиля распространились по всему Египту, собирая всюду солому и проклиная своих ходатаев, потому что чувствовали себя крайне несчастными и говорили, что советы Моисея удвоили их нужду.

Однажды снова Моисей и Аарон появились во дворце и еще раз убеждали царя отпустить евреев для принесения жертвы Вечному в пустыне.

— Кто мне докажет, — ответил Фараон, — что воистину вас послал Вечный, чтобы сказать мне эти слова, и что вы не низкие обманщики, как я предполагаю?

Аарон бросил перед царем палку, и дерево стало изгибаться, волноваться, покрываться чешуей, двигать головой и хвостом и издавать страшный свист. Жезл обратился в змея. Он свивался в кольца на плитах, надувал свой зоб, высовывал свой раздвоенный язык и, вращая красными глазами, казалось, искал жертвы.

Оэрисы и слуги, окружавшие трон, застыли в немом ужасе при виде этого чуда. Самые храбрые обнажили до половины свои мечи.

Но Фараон нисколько не смутился; презрительная улыбка мелькнула на его губах, и он сказал:

— Вот что вы можете сделать. Ничтожное и грубое чудо. Пусть придут мои мудрецы, волшебники и иероглифиты.

И они пришли; то были странные и таинственные люди, с бритыми головами, в сандалиях из библоса, в длинных, львиных одеждах, с посохами, покрытыми иероглифами, желтые, иссохшие в бдениях, науке и суровой жизни; утомление познаниями тайн отражалось на их лицах, и только глаза в них сверкали.

Они стали в ряды перед троном, не обращая внимания на змея, который извивался, ползал и издавал свист.

— Можете ли вы, — сказал царь, — обратить ваши посохи в пресмыкающихся, подобно тому, как это сделал Аарон?

— О Царь! Ужели для этой детской забавы, — ответил старейший, — вызвал ты нас из глубины наших сокровенных комнат, где при свете ламп, наклонясь над неразборчивыми папирусами, преклонив колена пред таинственными и полными глубины иероглифами на стеллах, собирая по крупицам познание тайн природы, вычисляя силу чисел, протягиваем нашу трепетную руку к краю покрывала великой Изиды. Дозволь нам вернуться к себе, потому что жизнь коротка и мудрец едва успевает бросить другому слово, которое он нашел; дозволь нам вернуться к нашим работам. Первый фигляр, играющий на флейте на площадях, сумеет исполнить то, что ты желаешь.

— Эннана, сделай то, что я хочу, — сказал Фараон старейшему из своих иероглифитов и волшебников.

Старый Эннана обратился к мудрецам, которые стояли неподвижно и погрузившись умом в бездну размышлений:

— Бросьте ваши посохи на землю и произнесите тихо волшебное слово.

Посохи со стуком упали одновременно на плиты, и снова мудрецы приняли свою прежнюю позу, подобные изваяниям у колонн в храмах, и даже не удостоили взглянуть совершается ли чудо, настолько они были уверены в могуществе своей формулы.

Тогда началось странное и ужасное зрелище: посохи искривились, как свежие ветви в огне, их концы расширились в виде голов и удлинились в виде хвостов; одни остались гладкими, другие покрылись змеиной чешуей. И все они стали ползать, свистеть, свиваться в отвратительные узлы. У некоторых из змей были следы ударов копьем на лбу; тут были и виперы, и зеленоватые гидры, и аспиды, и боа с громадной пастью, способной поглотить быка Аписа, и змеи с круглыми, как у совы, глазами. Весь пол залы покрылся ими.

Тахосер, сидевшая на троне рядом с Фараоном, поднимала ступни своих красивых ног и прятала их, бледнея от страха.

— Ты видишь, — сказал Фараон Моисею, — что мои мудрецы своей наукой превосходят тебя. Придумай другое чудо, если хочешь меня убедить.

Моисей простер руку, и змей Аарона бросился на двадцать четыре других змеи; борьба длилась недолго, и он скоро пожрал всех этих ужасных пресмыкающихся, созданных действительно или призрачно мудрецами Египта; потом снова он обратился в посох.

Это, по-видимому, изумило Эннана; он склонил голову, подумал и сказал в раздумии:

— Я найду слово и знак. Я неверно перевел четвертый иероглиф пятой строки, заключающий в себе заклинания змей… О Царь! Нужны ли мы тебе еще? — продолжал он громко. — Я спешу продолжить прерванное чтение Гермеса Трисмегиста, в нем сокрыты иные тайны, чем эти превращения для забавы.

Фараон знаком разрешил старику уйти, и молчаливое шествие удалилось в глубину дворца.

Царь возвратился в гинекею вместе с Тахосер. Дочь жреца, все еще испуганная и трепещущая, опустилась перед ним на колени и сказала:

— О Царь! Ты не страшишься прогневать твоим сопротивлением неведомого Бога, которому израильтяне хотят принести жертву в пустыне? Отпусти Моисея и евреев для их обрядов, потому что Вечный, как они называют своего Бога, может покарать землю Египта и умертвить нас.

— Как! Тебя пугает эта забава со змеями? — ответил Фараон. — Разве ты не видела, что мои мудрецы также обратили в змей свои посохи?

— Да, но змей Аарона пожрал их — это дурной знак.

— Что мне до того! Или я не возлюбленный богом Фрэ, не Избранник Аммона-Ра? На моих сандалиях изображены побежденные народы. Одним дуновением, когда захочу, я смету с земли всю эту еврейскую толпу, и мы увидим, защитит ли их тогда их Бог!

— Остерегись! — сказала Тахосер, вспоминая слова Поэри о могуществе Иеговы. — Не дозволяй гордости ожесточать твое сердце. Меня страшат Моисей и Аарон; если они не боятся твоего гнева, то это потому, что их хранит какой-то грозный Бог!

— Если бы их Бог был так могуч, — сказал Фараон Тахосер в ответ на ее опасения, — то оставлял ли бы он их в рабстве, в унижении, подобно вечным животным, под гнетом самых тяжких работ?.. Забудем же все эти пустые чудеса и будем жить в мире. Вспомни о любви моей к тебе и знай, что Фараон могущественнее, чем призрачное божество евреев.

— Да, ты Исчислитель народов, Властитель престолов, и все люди

перед тобой как крупицы песка, поднятого южным ветром, я это знаю, — ответила Тахосер.

— И все же я не могу тебя заставить полюбить меня, — промолвил Фараон, улыбаясь.

— Лань боится льва, голубка — коршуна, глаз страшится солнца, и я все еще вижу тебя сквозь страх и ослепление твоим блеском. Человеческая слабость медленно сближается с царским величием. Бог всегда устрашает смертную.

— Ты мне внушаешь сожаление, Тахосер, что я не простой оэрис, или какой-нибудь царь, или жрец, или земледелец, или кто-либо еще того ниже. Но если я не могу сделать властелина простым человеком, то могу женщину сделать царицей и обвить золотым змеем твое чело. И царица не будем страшиться царя.

— Даже когда ты даешь мне место рядом с тобою на престоле, то моя мысль все же остается склоненной к твоим ногам. Но ты так добр, несмотря на твою сверхчеловеческую красоту, твою беспредельную власть и твой молниеносный блеск, что, может быть, мое сердце станет смелее и забьется рядом с твоим.

Так беседовали Фараон и дочь жреца. Тахосер не могла забыть Поэри и старалась выиграть время, убаюкивая надеждой страсть царя. Но ускользнуть из дворца и снова найти юного еврея было бы невозможно. Притом Поэри только принимал ее любовь, не разделяя ее. Рахиль, несмотря на свое великодушие, была опасной соперницей. И к тому же нежность Фараона трогала Тахосер; она хотела бы его полюбить; и, быть может, она была к эту чувству ближе, чем полагала.

XVII

Несколько дней спустя Фараон проезжал по берегу Нила, стоя в колеснице и в сопровождении своей свиты; он хотел видеть, насколько поднялась вода в реке. На его пути восстали точно два призрака, Аарон и Моисей. Фараон удержал коней, пена которых почти брызгала на грудь великого старца, остановившегося неподвижно.

Моисей медленно и торжественно повторил свое требование.

— Докажи каким-нибудь чудом могущество твоего Бога, — ответил царь, — и я исполню твою просьбу.

Моисей, обратясь к Аарону, следовавшему за ним в нескольких шагах, сказал:

— Возьми твой посох и простри твою руку на воды египтян, на их реки и потоки, и озера, и водоемы; и пусть воды обратятся в кровь. И будет кровь во всей стране Египетской, также и в сосудах из дерева и камня.

Аарон поднял посох и ударил им по водам реки.

Тревожно ожидала чуда свита Фараона. Но царь, чье сердце было подобно меди в каменной груди, презрительно улыбался, веря, что наука его иероглифитов посрамит чужестранных волшебников.

Как только посох еврея, уже бывший змеем, коснулся реки, тотчас же воды ее стали мутнеть и кипеть; их илистый цвет изменился, к нему примешался красный цвет, потом вся масса воды стала пурпурной, и Нил понес кровавые волны, бросая на берег розовую пену. Он точно отражал в себе громадный пожар или объятое огнем грозы небо: но воздух был спокоен. В Фивах не было пожара, и ясное голубое небо простиралось над красной пеленою вод, на которой белели тела умерших рыб. Громадные крокодилы, опираясь на свои изогнутые лапы, вылезали из реки и тяжелые гиппопотамы, похожие на глыбы розового гранита с пятнами черного мха, убегали среди тростников или поднимали над рекой свои огромные морды, не имея сил дышать в кровавой воде.

Каналы, источники, бассейны приняли тот же цвет, и кубки с водой стали красными, точно чаши, в которых собирают кровь жертвы.

Фараон не изумился превращению и сказал двум евреям:

— Это чудо может поразить доверчивую и невежественную чернь, но меня ничто не удивит. Пусть призовут Эннану и с ним иероглифитов; они повторят этот опыт волшебства.

Когда они пришли, Эннана взглянул на реку, несущую пурпурные

волны, и увидел, зачем их позвали.

— Верни водам их прежний вид, — сказал он спутнику Моисея, — и я повторю твое волшебство.

Аарон снова ударил посохом по реке, и вскоре она приняла свой естественный вид.

Эннана сделал жест одобрения, как беспристрастный ученый, отдающий данную справедливость искусству своего собрата. Он находил, что опыт сделан хорошо человеком, который не изучал мудрость подобно ему в таинственных комнатах Лабиринта, куда могут проникнуть лишь немногие посвященные, настолько строги испытания искуса.

Он простер над Нилом свой посох, исчерченный иероглифическими знаками, и пробормотал несколько слов на языке таком древнем, что его перестали уже понимать во времена Менеи, первого Египетского царя, на языке сфинксов, тяжелом, как гранит.

Обширная красная пелена внезапно простерлась от одного берега до другого, и снова потекли кровавые волны Нила к морю.

Двадцать четыре иероглифита склонились перед Царем, как бы намереваясь уйти.

— Останьтесь! — сказал Фараон.

И они снова приняли свой бесстрастный и сосредоточенный вид.

— Не представишь ли ты мне иного доказательства? Мои мудрецы, как ты видишь, повторяют твои чудеса.

Не смущаясь ироническими словами царя, Моисей сказал ему:

— Через семь дней, если ты не решишь отпустить израильтян в пустыню, чтобы принести жертву Вечному по их обряду, я приду снова и сотворю перед тобой другое чудо.

И через семь дней Моисей появился снова. Он сказал слуге своему Аарону слова Вечного:

— Простри посох в твоей руке на реки, потоки и пруды и изведи из них лягушек на землю Египетскую.

Как только Аарон сделал движение, из всех рек, каналов и болот вышли миллионы лягушек; они покрыли поля и дороги, прыгали на ступени храмов и дворцов, наполняли святилища и самые уединенные комнаты; и все новые и новые полчища их следовали за первыми: и повсюду они были; нельзя было ступить ногой, чтоб не раздавить какую-нибудь из них: они прыгали под ногами во все стороны, и всюду было видно, как они скачут и подпрыгивают, взбираясь одни на других, так как им не хватало уже места на земле, а число их все увеличивалось. Их бесчисленные зеленые спины покрывали поля как бы движущимся

зеленым лугом, на котором, точно цветы, блестели их желтые глаза. Домашние животные, лошади, ослы, козы в испуге бегали по полям и повсюду встречали отвратительное скопление лягушек.

Фараон у входа во дворец, глядя со скукой и омерзением на это наводнение живых тварей, убивал их сколько мог или отбрасывал загнутым носком сандалии. Но появлялись новые, неведомо откуда, взамен убитых, с еще более шумным кваканьем, еще более омерзительные и наглые, с устремленными на него своими большими круглыми глазами, с растопыренными пальцами лап, с сморщенной белой кожей на брюхе. Омерзительные животные, казалось, были одарены умом и наибольшую наглость проявляли вокруг Фараона.

И это наводнение все усиливалось: на коленях колоссов, на карнизах пилонов, на хребтах сфинксов и криосфинксов, на выступах храмов, на плечах богов, на вершинах обелисков приютились отвратительные твари, с вздутыми спинами и расставленными врозь лапами. Ибисы сперва радовались этой неожиданной добыче, хватали лягушек своими длинными клювами и поедали сотнями, но потом, смущенные постоянным их приливом, с криками стали улетать в небо.

Аарон и Моисей торжествовали; Эннана углубился в размышление. Приложив палец к своему плешивому лбу, полузакрыв глаза, он, казалось, искал в глубине памяти забытую магическую фомулу.

Фараон, встревоженный, обратился к нему:

— Что же, Эннана? Погруженный в мечты, ты потерял голову? Или это чудо сильней твоих знаний?

— Нисколько, о царь! Но когда ум измеряет бесконечное, испытует вечность, проникает в непонятное, то может временно позабыться то странное слово, которое господствует над пресмыкающимися, которое их порождает или уничтожает. Взгляни! Все эти гады исчезнут.

Старый иероглифит сделал движение своим жезлом и тихо произнес несколько слов.

В миг поля, площади, дороги, набережные, улицы, дворы дворцов, комнаты домов очистились от лягушек и приняли свой обычный вид.

Царь улыбнулся, гордясь силой своих волшебников.

— Но этого недостаточно, что я разрушил чары Аарона, — сказал Эннана, — я повторю сделанное им.

И он взмахнул своим жезлом в обратную сторону, произнося противоположную формулу.

Снова появились лягушки еще в большем количестве, стали прыгать и квакать. Мгновенно покрылась ими вся земля. Но Аарон простер свой

посох, и египетский чародей не имел уже силы уничтожить нашествие гадов, вызванное его заклинанием. Тщетно произносил он таинственные слова, чары потеряли силу.

Иероглифиты удалились, задумчивые и смущенные, сопровождаемые гнусным приливом гадов. Брови Фараона яростно сдвинулись; но он продолжал упорствовать и не пожелал уступить просьбе Моисея. Его гордость боролась до конца против неведомого бога Израиля.

Но, чтобы избавиться от нестерпимого нашествия омерзительных животных, Фараон обещал Моисею дозволить евреям совершить жертвоприношение в пустыне. Гады умерли или ушли в воды, но сердце царя окаменело и, несмотря на кроткие увещания Тахосер, он не исполнил обещания.

Тогда на Египет обрушились кары и язвы. Безумная борьба началась между иероглифитами и двумя евреями, чудеса которых они повторяли. Моисей обратил всю пыль Египта в насекомых; Эннана сделал то же самое. Моисей взял две пригорошни песку и бросил их к небу перед Фараоном, и мгновенно красная чума, точно огонь, пала на кожу народа Египетского, не коснувшись евреев.

— Повтори это чудо! — воскликнул Фараон вне себя, багровый, точно озаренный отблеском горнила, обращаясь к главе своих мудрецов.

— Зачем? — ответил старик в унынии. — Перст Неведомого виден во всем этом. Наши заклинания не могут бороться с этой таинственной силой. Подчинись ей и отпусти нас в наше уединение, чтобы мы могли изучать нового бога, Вечного, который сильнее, чем Аммон-Ра, Озирис и Тифон. Наука Египта побеждена; загадка, хранимая Сфинксом, не имеет своей разгадки, и великая пирамида в своей гигантской тайне скрывает лишь небытие.

Но Фараон не хотел отпустить евреев, и весь скот египтян был поражен смертью; израильтяне же не лишились ни одного из своих домашних животных.

Поднялся южный ветер и дул всю ночь; и когда настал день, то все небо было покрыто рыжеватым облаком; сквозь него солнце казалось красным, как расплавленный щит, и светило без лучей. Это облако было живое, оно издавало стрекотание и шум крыльев и опустилось на землю в виде масс саранчи, розоватой, желтой и зеленой, бесчисленной, как крупицы песка Ливийской пустыни. Насекомые неслись вихрем, как солома, разметаемая бурей, омрачая дневной свет, наполняя рвы и источники, погашая своей массой огни, зажженые для их уничтожения. Их грозное нашествие надвигалось на весь Египет от водопадов до дельты,

уничтожая траву, обращая деревья в скелеты, пожирая растения до самого корня и оставляя позади себя обнаженную землю.

По просьбе Фараона Моисей прекратил это бедствие. Необычайной силы ветер унес стаи саранчи в Черное море. Но упрямое сердце царя, твердое как медь, базальт и гранит, не уступало и на этот раз.

Неведомое Египту бедствие — град упал с неба среди ослепительной молнии и оглушающего грома, все разбивая, уничтожая и срезая хлеба, точно серпом. Мрак, густой и грозный, в котором свет ламп угасал, точно в глубине подземелий, лишенных воздуха, этот мрак опустился тяжелым облаком на светлую сияющую, золотую под голубым небом землю Египта, в которой ночи светлее, чем день других стран. Люди в ужасе, точно объятые беспросветной тьмой могилы, бродили ощупью или садились вдоль портиков, испуская жалобные крики и раздирая свои одежды.

В одну ночь, ночь отчаяния и ужаса, грозный призрак пронесся над Египтом, проникая в каждый дом, дверь которого не была отмечена красным знаком, и все первенцы семей умерли, сын Фараона так же, как и сын последнего парасхита.

Царь удалился в глубину дворца; мрачный, безмолвный смотрел он на тело сына, простертое на погребальном ложе на лапах шакала, и не слышал, как слезы Тахосер лились на его руки.

Моисей появился на пороге, не возвещенный никем, потому что слуги разбежались в разные стороны; и с неизменной торжественностью он повторил свое требование.

— Идите! — сказал, наконец, Фараон. — Принесите жертву вашему Богу, как вам подобает.

Тахосер бросилась на шею царю и сказала:

— Теперь я люблю тебя! Ты человек, а не каменное божество.

XVIII

Фараон ничего не ответил Тахосер; он смотрел мрачным взором на труп своего первенца; неукротимая гордость бушевала в нем, хотя он и покорился. В глубине сердца он еще не верил в Вечного, и кары, поразившие Египет, он объяснял волшебной силой Моисея и Аарона, превосходящей силу его иероглифитов. Мысль о том, что он уступил, приводила в отчаяние эту гордую и жестокую душу; но если бы он даже захотел теперь удержать израильтян, то устрашенный народ не допустил бы этого: боясь смерти, египтяне изгнали бы сами этих чужестранцев, виновников их бедствий. Они удалялись от них с суеверным страхом; и когда великий еврей проходил вместе с Аароном, то самые храбрые из египтян убегали, думая: „Не обратится ли еще раз его посох в змею, которая обовьет нас своими кольцами?”

Забыла ли Тахосер про Поэри, когда обняла руками шею Фараона? Нет, но она чувствовала, что в его упрямой душе зреют планы мести и истребления, и она страшилась избиений, в которых мог бы погибнуть юный еврей и кроткая Рахиль, опасаясь массовых убийств, которые могут обратить воды Нила в подлинную кровь; и она старалась смягчить гнев царя ласками и нежными словами.

Похоронное шествие унесло с собой тело юного царевича в квартал Мемнониа для приготовлений к бальзамированию, которые длятся семьдесят дней. Фараон мрачно смотрел, как его уносили, и сказал как бы с печальным предчувствием:

— Вот у меня нет сына, Тахосер! Если я умру, ты будешь царицей Египта.

— Зачем говоришь ты о смерти? — ответила дочь жреца. — Годы пройдут за годами и не оставят следа на твоем могучем теле, и вокруг тебя поколения будут падать как листья вокруг высокого дерева.

— Но разве я, непобедимый, не побежден? — сказал Фараон. — К чему изваяния на стенах храмов и дворцов изображают меня с жезлом и бичом, в колеснице, которая несется по трупам, или поднимающим за волосы покоренные народы? Я принужден уступить чарам двух чужестранных волшебников, и боги, которым я воздвиг столько громадных храмов, сооруженных на века, не защищают меня от неведомого Бога этого темного племени! Вера в мое могущество навсегда уничтожена. Мои иероглифиты, принужденные умолкнуть, покидают меня; мой народ

ропщет, я лишь ничтожное подобие царя: я хотел и не мог! Ты сказала правду, Тахосер: я снизошел до уровня людей. Но ты меня любишь теперь, и потому я постараюсь все забыть и вступлю с тобой в брак, когда кончатся погребальные обряды.

Опасаясь, что Фараон возьмет назад свое решение, евреи быстро приготовились к уходу, и скоро двинулись в путь их отряды, предводимые днем столбом дыма, а ночью огнем. Они углублялись в песчаные пустынные пространства между Нилом и Чермным морем, избегая встречи с племенами, которые могли бы препятствовать их шествию.

Колонны Израиля прошли одно за другим мимо медного изваяния, сделанного волшебниками и имевшего свойство остановить побег невольников. На этот раз вековые чары оказались бессильны: Вечный разрушил их.

Медленно продвигались толпы евреев со своими стадами, вьючными животными, нагруженными драгоценностями, взятыми, якобы на время, у египтян, и с громадным обозом целого народа, который внезапно перекочевывает на другое место; человеческий глаз не мог бы различить ни начала, ни конца этого шествия, терявшегося на двух горизонтах в облаках пыли.

Если бы кто-нибудь сел у дороги, чтоб дождаться конца шествия, то увидел бы не раз восход солнца и закат, а люди все шли и шли.

Жертвоприношение Вечному было только предлогом; Израиль навсегда покидал землю Египта, и мумию Иосифа в расписанном и раззолоченном гробе уносили на плечах носильщики, которые в пути сменялись другими.

Фараон пришел в великую ярость и решил преследовать беглецов. Он велел запрячь шестьсот боевых колесниц, собрал своих вождей, опоясал стан широким поясом из кожи крокодила, наполнил два колчана своей колесницы стрелами и дротиками, надел на кисть руки медный браслет, ослабляющий ощущение содрогающейся тетивы, и пустился в путь, увлекая за собой бесчисленное множество воинов.

Яростный и грозный, он чрезмерно гнал своих коней, и вслед за ним шестьсот колесниц грохотали как земной гром. Пехотинцы ускоряли шаг и не поспевали за этим стремительным бегом.

Часто Фараон был вынужден останавливаться и ждать свое войско. При этих остановках он ударял кулаком о борт колесницы, в нетерпении топал ногой и скрежетал зубами. Он всматривался вдаль, стараясь за клубами песка, поднятого ветром, увидеть толпы беглецов евреев, и с яростью думал, что каждый час увеличивает расстояние, отделяющее их от

него. Если бы его не удерживали его оэрисы, то он стремился бы все вперед с опасностью предстать одному перед целым народом.

Теперь путь лежал не через цветущую долину Египта, но по равнинам с изменчивыми песчаными холмами и волнистым, как поверхность моря; с земли как будто была содрана кожа и виднелись ее кости: скалы странных причудливых очертаний, точно их топтали ноги гигантских животных в то время, когда земля была еще мягка, как ил, в те дни, когда мир выходил из хаоса, эти скалы поднимались местами среди равнин и резкими контурами прерывали плоскую линию горизонта, сливающуюся с небом в рыжеватом тумане. Очень далеко одна от другой, возвышались пальмы с покрытой пылью листвой близ какого-нибудь источника; часто он оказывался иссякшим, и лошади тщетно рыли грязь своими окровавленными ноздрями. Но Фараон, не желая замечать огненный дождь, падающий с неба, раскаленного добела, немедленно отдавал приказ о выступлении, и всадники, и пешие воины снова пускались в путь.

Остовы быков и вьючных животных, лежавшие на боку и над которыми крутились спиралями коршуны, отмечали путь, пройденный евреями, и не позволяли уклониться в сторону гневному царю.

Войско, подвижное, испытанное в походах, идет быстрее, чем народ с своими женщинами, детьми, стариками, с обозом и палатками; поэтому быстро уменьшалось расстояние между египетскими отрядами и израильтянами.

Близ Пи-ха-хирота, у Чермного моря, египтяне настигли евреев, которые расположились станом на берегу. Когда народ увидел сверкающую на солнце золотую колесницу Фараона и его боевые колесницы и воинов, то поднялся великий вопль ужаса и проклятий Моисею, увлекшему их на погибель.

Пред евреями было громадное войско, позади глубокое море.

Женщины кидались на землю, раздирая свои одежды, вырывая волосы, терзая грудь… „Зачем ты не оставил нас в Египте? Рабство все же лучше смерти, а ты увел нас в пустыню, на погибель: или ты боялся, что для нас не найдется могил в Египте?..” Так говорили в ярости толпы Моисею, по-прежнему спокойному. Наиболее храбрые брались за оружие и приготовлялись к защите, но общее расстройство было чрезмерное, и если бы боевые колесницы бросились на эту густую толпу, то произвели бы жестокий разгром.

Тогда Моисей, воззвав к Вечному, простер свой посох к морю, и тогда совершилось чудо, недоступное египетским иероглифитам. Поднялся восточный ветер страшной силы и рассек воды Чермного моря точно

жезлом плуга, отбросив направо и налево горы соленой воды, увенчанные гребнями пены. Разделенные таким порывом ветра, какой смел бы пирамиды, как песчинки, воды остановились как две стены, открывая широкий путь, по которому можно было пройти как посуху; сквозь прозрачность водных стен, как сквозь стекло, виднелись морские чудовища, устрашенные светом, проникшим в тайники морской бездны.

Толпы израильтян бросились в этот чудодейственный проход; человеческий поток устремился среди двух стен зеленой воды. Бесчисленный муравейник покрыл двумя миллионами черных точек дно морской глубины, и ноги людей впервые оставляли свои следы на почве, которой касались лишь левиафаны. А страшный ветер все время дул над головами евреев, удерживая разделенные надвое волны моря. Дыхание Вечного рассекло надвое море!

Устрашенные этим чудом, египтяне колебались преследовать евреев. Но Фараон в своей высокомерной храбрости, которую ничто не могло поколебать, погнал вперед ударами бича своих коней, которые упрямились и вздымались на дыбы; с налитыми кровью глазами, с пеной на губах он рычал как лев, от которого ускользает добыча, и наконец он заставил их вступить в так необычайно открывшийся проход среди вод.

Шестьсот колесниц последовали за ним; последние из израильтян, среди которых были Поэри, Рахиль и Тамар, считали себя погибшими, видя, что враги следуют за ними. Но когда египтяне зашли далеко, Моисей сделал знак; внезапно колеса упали с осей, и началось страшное смятение среди коней и людей; потом поднятые чудом водяные горы упали, и море закрылось и закрутило в вихрях пены людей, животных и колесницы, точно соломинки, уносимые рекой.

Один лишь Фараон в своей колеснице, всплывшей на поверхность вод, метал последние стрелы из своего колчана, опьяненный гордостью и бешенством, в евреев, достигших противоположного берега. Когда стрел больше не хватило, он взял дротик и, почти утопая, подняв руки над водой, он метнул его против невидимого Бога, с которым боролся, даже погружаясь в бездну.

Громадный прилив, пронесшийся у морского берега, потопил все до конца: от славы Фараона и его войска не осталось ничего.

А на другом берегу Мириам, сестра Аарона, прославляла Бога и пела, играя на тамбурине, все женщины Израиля ударяли в ритм в тимпаны. Два миллиона голосов запели гимн освобождения.

XIX

Тахосер тщетно ожидала Фараона и царствовала над Египтом. Потом она вскоре умерла. Ее положили в роскошной гробнице, приготовленной для царя, тело которого не могли найти; при ней, под погребальными пеленами, положили ее жизнеописание, начертанное на папирусе с красными заглавными буквами писцом Какеву, грамматом двойной комнаты света и хранителем книг.

Тосковала ли она по Фараону и Поэри? Граммат Какеву не говорит ничего об этом, а доктор Румфиус, переводивший его иероглифы, не решился взять на себя решение этого вопроса. Что касается лорда Ивендэля, то он не желает жениться, хотя он и последний представитель рода. Молодые мисс не могут объяснить себе его холодность к прекрасному полу. Но, действительно, могут ли они представить себе, что лорд Ивендэль влюблен в Тахосер, дочь великого жреца Петамунофа, умершую три тысячи пятьсот лет тому назад? Впрочем, у англичан бывают безумства еще менее понятные.

КОНЕЦ

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com

Оставить отзыв о книге

Все книги автора

---

notes

Примечания

1

Критяне лгуны.

2

Офицер.